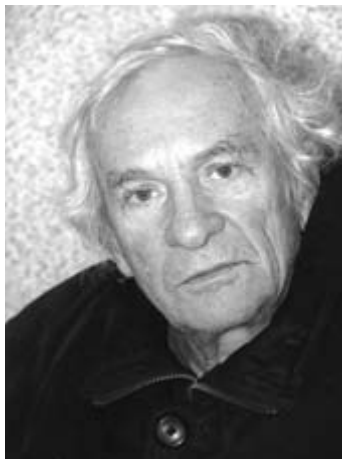


ВИКТОР ЛИХОНОСОВ



НЕ ДАЁТ ПОКОЯ ИСТОРИЯ

Из цикла “Записи перед сном”

1971

Декабрь. Похороны Твардовского. Из провинциальной глуши, из окружения тупых поэтов и доносчиков, из этого болота самодеятельной литературы слышится шепот политической оценки редактора, возглавлявшего “Новый мир” и в прошлом году снятого с должности. В журнале “Новый мир” и я, печатаясь там, замечал кое-что, но к самому Твардовскому у меня отношение скорее читательское, благодарное, школьно-студенческое. Да, декламировал я со сцены на вечерах страничку-две из “Василия Теркина”, и стоял как-то возле библиотеки имени Пушкина перед газетной витриной и читал в “Правде” большую главу из поэмы “За далью — даль”, и когда уже стал печататься, зарубил себе в памяти его стихотворение “Вся суть в одном-единственном завете”, вообще ощущал его всегда родным, русским человеком. А уж потом и повидал его, повстречался в редакции, притихше посидел немножко и вышел благодарно и неловко, считая себя вороной, залетевшей в высокие хоромы. И летом того же 1965 года вышел 7-й номер журнала с предисловием Твардовского к собранию сочинений Бунина, и я с испуганной радостью увидел там среди фамилий Ю. Казакова и В. Белова и... свою — как... как... писавших “не без влияния Бунина”. Поэтому какая политика?! До политики моя душа не поднимается (зарубежные “голоса” трезвонят, что прощаться “сквозь оцепления” приезжал Солженицын). В про-

ЛИХОНОСОВ Виктор Иванович родился в 1936 году на станции Тотки Кемеровской области. Детские и школьные годы прошли в Новосибирске. Окончил историко-филологический факультет Краснодарского педагогического института. Автор книг “Вечера”, “На долгую память”, “Осень в Тамани”, “Элегия”, романов “Когда же мы встретимся?” и “Наш маленький Париж”. Лауреат Государственной премии России и международной премии имени Шолохова. Главный редактор журнала “Родная Кубань”. Живёт в Краснодаре.

шлом году летом я в гостях у матери на улице Озерной в Новосибирске составил в уме несколько пламенно-любящих телеграмм Александру Трифоновичу — к его 60-летию. Я не знал еще, что он тяжело болен. Но, как и Шолохову в 55-м и 65-м годах, отослать постеснялся. Одиноко любящий писателя, одиноко и прощаешься с ним. Буду в Москве, пойду теперь на Новодевичье кладбище*.

* ...В 1965 году Александр Трифонович принимал меня вместе со своим заместителем Б. Заксом, который через несколько лет отъехал из СССР в Германию и там умер. И вот, когда грянула измена, распался Советский Союз, воцарился пьянчужка и самодур Ельцин, почти все бывшие авторы и сотрудники “Нового мира” топтали всё подряд, повернулись к Америке, а некоторые прослыли прямыми русофобами. И всё это не случайно. Помню, нигде так не ненавидели Шолохова, как в “Новом мире”. Неужели Трифони-
ныч был слеп? Твардовский страдал, это точно, это заметно по записям в “рабочих тетрадах”, а его окружение и все прочие пользовались его позицией в своих тайных целях. На бесконечных его записях в “рабочих тетрадах” о борьбе с ЦК я аж вскрикивал: “Да не много ли этой борьбы? да и зачем было так злить Суслова и Демичева? И кто сзади подталкивал, подогревал?”

Благодарно поклонился тени великого человека, когда в этих же “рабочих тетрадах” вдруг... прочитал о себе:

“14.IX. Пахра.

Встал до 4-х, пил кофе, курил, послушать ничего не удалось — отвратительный гром заглушки...

Стал читать Лихоносова и до конца не мог оторваться! Какой молодец! С любовью, с нежностью и болью пишет ту низовую, окраинную жизнь, жизнь с “коровы”, с базара, с огорода, с пенсий, жизнь, которую не принято ни фотографировать, ни “отражать” в очерках, жизнь без “роли парторганизации”, без всего такого — саму по себе, со всеми отчаянными хлопотами, напряжением, муками, безысходностью — послевоенная жизнь миллионов. — Нет, этого уже не заставишь “соображать”, дозировать “светлое” и “темное”, приплетать “руководящую роль” там, где ее попросту нет...”

Это в 1968 году было. Повесть вышла в 8-м (августовском) номере, и читал ее Александр Трифонович уже попозже. Мне до сих пор всё это странно: моё печатное появление в известном журнале, благоволение с первого рассказа Твардовского, один отзыв, другой. И в читальном зале, перелистывая “Знамя” № 8 за 2003 год, спустя 35 лет после записи Твардовского в четыре часа утра и спустя 32 года после его смерти, уже пережив его на шесть лет, став свидетелем того, что он не мог уже ни видеть, ни слышать, онемел я и замер как каменный от скорби протекшего времени, оттого, что, как писал Бунин, “...всё равно всё в жизни проходит и не стоит слез”, оттого еще, что возносимый при жизни либералами Трифониныч совершенно забыт, выкинут ими, и в книжных магазинах нет его сборников, “рабочих тетрадей” и умных писем, а в разных вариантах томиков “Азбуки-классики” всё вертится на стенде Бродский, Бродский, Бродский, которого он не ценил и в своём “Новом мире” не печатал...

(дек. 2003)

1978

13 января

— Три дня назад закончил роман “Когда же мы встретимся?”*

* — А я и забыл. И отчего вздрогнул теперь и отчего же мне это важно? Хотел бы я, чтобы мне нашептал кто-то, что в этот день было, куда я ходил, с кем разговаривал, какой была Настя и не хмурился ли я на общественную жизнь, как читал газеты и слушал речи.

Постарел и дорожу всяким мгновением, которое... “было и прошло”.
(11 января 2009)

4 декабря (Ответ на анкету о поэзии)

Не могу сказать, что поэзия увлекала меня больше, чем проза. Если бы не было на свете стихов, не было Пушкина, Лермонтова, Боратынского и Есенина, моя душа не получала бы с юности такой светлой поддержки, ка-

кую я знал. Не тот бы я был немного. Но — если говорить правду — и в русской прозе, на классических ее страницах, я находил ту же музыку, что и в стихах. Собственно в поэзии меня воодушевляла открытость признаний, искреннее небоязливое чувство, полнота выражения тех затаенных, знакомых каждому переживаний, которые трудно передать кому-то устно, с глазу на глаз. А красота формы! Люблю в стихах мелодию, успокоение, равное мудрости. Но для жизни мне нужно их так мало! Хватало всегда самых избранных. Никогда не понимал людей, объедавшихся стихами. Стихи не отвечали мне, как это принято говорить, “на вопросы”, в них было для меня что-то выше вопросов и ответов. “Евгений Онегин” неизменно лежит у меня на маленьком столике, рядом с подушкой. Вот без какой поэзии я не смею жить.

В. Лихоносов

1990

Сентябрь

— Что случилось? — спросили меня в редакции газеты.

— А то, что даже я, написавший роман о Екатеринодаре, ни за что бы не поверил, если бы года четыре назад мне сообщили: “В Краснодар приезжают потомки знаменитого рода Бурсаков!”

— ??

— История наша грустна и чудесна.

— Род Бурсаков сохранился?

— Сохранился. И вашей газете придётся о нём напомнить.

— Откуда же у вас сведения?

— Из первых рук. В августе месяце мне позвонила из Москвы Ольга Николаевна Мейендорф. И говорит: “В сентябре приедут из-за границы Бурсаки”. Спрашивала, остались ли в городе старые господские дома, есть ли гостиница. Ольга Николаевна тоже по рождению Бурсак. Она внучка Надежды Павловны Штейнгель, а Надежда Павловна — дочь Елизаветы Александровны Бурсак, некогда очень известной в Екатеринодаре и умершей во Франции в 1929 году. У нее были еще сыновья: Сергей Павлович, кирасир лейб-гвардии и предводитель ставропольского и кубанского дворянства, и Константин. Вы сможете всё описать, когда они приедут и расскажут. Когда я читал воспоминания М. И. Недбаевского (умер за границей), дружившего с семьей Бурсаков, мне захотелось найти потомков, но я махнул рукой — так же, как махнул и при мысли узнать что-нибудь о дочерях наказного атамана М. П. Бабыча: никого нет! Мир большой, у кого спрашивать?! А люди сами найдутся, если их не пугать.

— Что-то происходит сейчас невиданное.

— Мы сейчас живем среди потрясений, но мне кажется, приезд Бурсаков на родину предков — еще как бы одно послание свыше о том, что в нашей истории, в нас самих не исчерпана возможность примирения и что народное чувство снова окропит всё, что время и события засушили. Сама жизнь возвращает нас к своим истокам. Старину не вернуть, но возрождение всего родного, почвенного неминуемо.

— 12 октября созывается Всеказачий съезд.

— И Бурсаки приезжают. Надо ко всему приготовиться. Поэтому я и пришел.

— Как Бурсаки вас нашли?

— Наверное, кто-то сказал им о моем романе. Честно говоря, я сначала “испугался”, ну так, слегка. Ведь Елизавету Александровну Бурсак я описал. По легендам, рассказам старожилов, по архивным бумажкам. Что скажут?

— Это роман.

— Не документ, конечно. Роман. Но казалось тогда, что всё до такой пустоты умерло, до того всё забыто! И я даже фамилию и имя не изменил. Вот как мы жили: нельзя было упоминать в статье фамилию бывшего городского головы. А род Бурсаков был на Кубани знаменитым. Это самые истоки Кубани, низовые ее истории. Бурсаки пришли на Кубань вместе с Чепигой и Головатым. Ф. Я. Бурсак был в начале XIX века войсковым атаманом. Они-то и вырубали просеки для первых улиц “Катырынодара”. Сколько славы!

Бурсаковские табуны под Каневской, в Ейском куте, под Брюховецкой (если не ошибаюсь). “Бурсаковские скачки” — берег Кубани под городом; Бурсаковская улица (ныне Красноармейская). Хоровое искусство началось при Бурсаках. Кстати, нынешний Казачий клуб носит имя Ф. Я. Бурсака.

— Сколько человек приедет?

— Двенадцать или тринадцать. Из разных стран! Их сопровождает французское телевидение.

— Французам роды кубанские интереснее, чем нам?!

— Пока, выходит, так. Потомки запорожцев! В Каневской мне показывали дом Е. А. Бурсак. Ольга Николаевна спрашивала, какие я еще знаю бурсаковские достопримечательности. Ну, например, разъезд Бурсак по железной дороге. Под Динской на речке Первые Кочеты (в их подкове) была их земля, дача. Когда едешь на Черемушки (там, где тоннель), справа на горке стоял двухэтажный дом (“дача Бурсачки”) — его только что разрушили! Мы же всё продолжаем рушить! Я хочу обратиться ко всем кубанцам, кто хоть что-то помнит от дедушек и бабушек, матерей и отцов, сообщите всякую мелочь, легенду о местах, связанных с Бурсаками. Приезжающим на Кубань потомкам это нужно для родственной памяти (они же родились за границей), а нам — для истории. Лучшие умы страны говорят правильно: без мяса и хлеба, без мыла и обуви жить человеку нельзя, но будут и мыло, и мясо, и обувь, если мы возродим культуру и почитание своих предков, если возродим душу свою. Сносит дом Бурсака невежда и варвар; так же хамски он строит новое жилье.

— В Америке вы были, встречались с казаками, они помнят Кубань?

— Еще как. Я написал об этом, скоро опубликую. Они меня поразили! Многие родились за границей, но отцы им завещали свои святые чувства к “неньке-Кубани”, и я такого трепета, как у них, у нашей интеллигенции не замечаю. Такая преданность отцам и дедам! Я выступал перед ними, и само слово “казак” доводило их до слёз. Можете представить, с какими чувствами приедут Бурсаки.

— Что нужно сделать?

— Просьба к властям: предоставить маленький автобус для гостей; они хотят увидеть станцию Каневскую; наверное, и Геленджик. Да и Ейск и Новороссийск. И к Лебяжьей пустыни под станцией Чепигинской имели отношение Бурсаки. Просьба к работникам музеев: сделать копии особо дорогих для семейной памяти фотографий и архивных листков, касающихся рода Бурсаков. Не нужно нигде наводить марафет, как это всегда бывало. Иначе я напишу об этом марафете потом. Лучше покрасить школьный забор, чем спешно перекрашивать все заборы по соседству с домом Бурсаков (допустим, в Каневской). Живая жизнь нам всем дороже. Она, жизнь, не остановится ради приезда Бурсаков, но я считаю, что историческое чувство родства влияет на здоровье нации и отдельного человека. И с умом надо относиться к событию большому и малому. Не суетиться, но и не дуться высокомерно, как это случилось во время приезда И. Л. Сологуб. Да к тому же рассудим и так: мы сейчас расстилаем ковры американцам, французам, итальянцам, грекам, а потомкам казаков, основавшим этот город, мы не выкинем и домотканых дерюжек? Мы возили на охоту и на рыбалку народных артистов, даже пресмыкались перед ними, а родного внимания к людям благороднейшей кубанской фамилии не проявим? Бурсаки приедут поклониться земле, и мы рядом с ними вспомним, от кого и от чего на этой южной земле зарождалось древо казачье. И дети пусть знают.

— Когда они приедут?

— 28 сентября. Рейсом из Москвы. Сегодня звонила Ольга Николаевна. Мое сообщение в газете сведено будет не с тем, конечно, но надо прислать в музей транспорт. Об этом можно бы тихо договориться и по телефону. Я хочу, чтобы заранее знали о гостях казаки. Не исключено, что кто-то “из бывших” подыедет или подаст голос — и это будет голос живой истории. Или я сумасшедший?*

**И они приехали, но лучше бы мы их не видели. Какое разочарование! Милые пустые люди, среднеевропейцы, о которых писал К. Н. Леонтьев, но*

эти русские претендуют на любовь к России, на служение (по завещанию отцов и дедов, убежавших от большевиков) памяти о ней, в разговорах даже чувствуется манерное превосходство перед нами, советскими. Прилетели в дождь. Никакие казаки на встречу не явились, атаман отстранился (и потом так и не встретился с ними — вот он и “конец истории”). Всего поселилось в “Интуристе” 17 Бурсаков. Первое впечатление (оно только усиливалось потом): приехали какие-то чужие люди, иностранцы. Я больше всего ждал единственного из них, того, который родился в России в 1914 году: мать его родовитая, отец Сергей Павлович Бурсак, кирасир полка Его Величества, предводитель ставропольского и кубанского дворянства, зверски убит (даже, говорили нам, сожжен в стогу сена в Горячем Ключе в 1918 году). Да, не терпелось лицезреть Владимира Сергеевича Бурсака. В фойе гостиницы поджидал минут двадцать: он после завтрака чистил зубы. Ну что! — спустился с этажа старик, седой, кареглазый, не совсем хорошо говорит по-русски. Живет он под Нищей в своем доме с садом, с ним два сына, один, с оттопыренными ушами, снимает на видеокамеру и молчит; жена светловолосая англичанка. О Кубани Владимир Сергеевич знает мало (это сын-то предводителя дворянства), бабушкины рассказы о своем роде не помнит. Никогда не слышал фамилии Бунина. Ивана Шмелёва не читал. На пальце у него перстень с гравировкой герба Бурсаков. Пишется он так: В. де Бурсак. Это вот они не растеряли, этим гордятся и выпячиваются родовитостью. О Екатеринодаре помнит чуть-чуть: какие-то пышные похороны в Гражданскую войну. Зачем же он приехал? В дом Фотиади, где стоял в 1920 году генерал Деникин, идти они не захотели. Побывать в Тамани? О, это далеко. Выбрали Новороссийск. Ага! Там какие-то дома барона Штейнгеля, и они рыскали по городу и всё спрашивали, спрашивали — в чьих эти дома руках и... и... В Краснодаре их тоже влекло найти какие-то дома возле Нового рынка, принадлежавшие Бурсакам. Еще я их толкал в Динскую, там на берегу речки была дача у Елизаветы Бурсак. И писать больше не хочется мне о них. Неинтересны. Повезли их в Каневскую, на хутор Бурсаки. Там через лиманчик длинный узенький мостик из тонких журавлиных столбиков и досточек. Но высокий. Я взобрался. Вслед за мной полез Георгий Бурсак, сорокалетний друг знаменитых французских писателей Анри Труайя и Мориса Дрюона. О Боже, как переродились Бурсаки! Он струсил идти по мосточку, ножки его дергались, он боялся упасть и... с трудом спустился вниз. Жалкий интеллигентик. Этаким наш “лучший поэт Кубани”, маменькин сынок. И ничего толком их не интересовало, ни у кого ни о чем они не спрашивали, пустыми ходили в Каневской по музею (обновленному, с елками у входа), один из них вышел на улицу и тут же, повернув вбок, под елкой помочился; наверное, это по-западному: здоровье — прежде всего.

Прочальный ужин в “Интуристе” был тоже какой-то жалкий, “для себя”, речи ни о чём, ни слова о заветном прошлом отцов и дедов, ничего такого, что можно было выслушать и запомнить, и передать своим. Провожать я их не прошел. Скатертью дорога. Они даже на старое кладбище не сходили; и не спросили, где похоронен Павел Павлович Бурсак и все прочие Бурсаки, что постарше. Они ничего-ничего не знали подробного о земле, на которую из Запорожья пристали на конях и с возами их предки...

13 февраля

Что это? Незнание природы творчества, истинных красот искусства или политическая местечковая спекуляция? Провозгласить В. Гроссмана “современным Толстым”? Сказать так о романе, прошнурованном политической журналистикой, — значит, забыть вкус родниковой воды былин, песен, летописей, пушкинской прозы, толстовского дыхания простоты... Нельзя же оценивать художественное произведение в свете борьбы “тройственного союза” (журналов “Наш современник”, “Москва”, “Молодая гвардия”) с командой революционеров (“Октябрь”, “Юность”, “Огонёк”, “Неделя”, “Книжное обозрение”, “Даугава”). Люди, переставшие молиться (или никогда не молившиеся), причащаться, с ресторанным весельем расстались с заповедями истории и устали в светящуюся вредным мерцанием раму те-

левизора, не видят в городах звезд, учат с детства стихи о ненависти и в книжных сумасшествиях с удовольствием узнают себя.

1991
Октябрь

БАЙКА

Было якобы так. Дня через два после неудавшегося переворота в Москве Степан Трескунов появился в кабинете начальника, помолчал с полчаса, потом поругал коммунистов, затеявших это преступление, и вдруг спросил:

— Иван Спиридонович! А моё дело продвигается? Ты звонил туда?

— Куда туда? Все здания опечатаны.

— Так а заслуги мои не отменяются. Нигде не сказано, чтобы отменить заслуги перед советской властью.

— Ну ты маленький, что ли. Мы документы отослали ещё в июне. А переслали их в Москву или тут лежат — я ж не знаю. Ты чего просил?

— Орден Октябрьской революции.

— Теперь-то он тебе зачем? Уже Ельцин отменил партию.

— Мне обидно. Ивану Дуле дали, скотнику Шнуркову дали, бригадирю Лодыжкину тоже, даже Свинарникову за то, что лекцию на уборке урожая прочитал, дали, а я как будто в окопах сидел. Я ж иногда, когда партия просила, раскулачивал гнилую интеллигенцию, и письма куда надо писал, и так один на один докладывал — и хоть бы какую железячку дали! Ты, как печати с дверей снимут, сходи, пускай пошукуют у себя в сейфах, — может, кому не успели раздать, так я возьму. Чего ж они там будут пылиться?

— Затрудняюсь обещать, Степан Павлович. Да сходи до Устиньи, у нее от мужика осталось пять орденов, она за лекарство тебе один даст.

— Мне ж надо, чтоб и в газетах сказали.

— Тебя обсмеют!

— Не обсмеют. Когда власть вернётся, я встану и скажу: получил дорогой орден как раз тогда, когда все их побросали.

— А за что, спросят?

— А за то, что когда Дзержинского на Лубянке сбрасывали, я дома по телевизору наблюдал и руки держал в карманах, не вмешивался.

Как-то знаменитый наш композитор Г. Пономаренко предложил мне написать инсценировку по роману “Наш маленький Париж”. Предлагал из романа сделать... оперетту. Уважая мелодический талант Г. П., я скрыл своё возмущение и мягко объяснил ему, что моего согласия он не получит. Я написал роман о страдании всеми забытых людей, о казаках, борющихся со злом, проживших лучшие свои годы на чужбине, о мастерах, чьи золотые руки не нужны были “соцсоревнованию”, о самом ВРЕМЕНИ, которое ночной тайной проходит над нами. И из всего этого горького мела мы будем лепить музыкальную буффонаду (вроде “Свадьбы в Малиновке”), всё это несчастье мы кинем под ноги похотливым опереточным артистам?

Ноябрь

Страдание (если оно есть) написано на лице. Как его ни скрывай. Боже мой, ни одного страдающего лица на вершине власти! Спокойная пустота взглядов, спортивная лёгкость походок. Поэтому-то народ не сочувствует нисколько пробывшей три дня “в заточении” в Форосе Раечке Горбачёвой. Было страшно? Там с ней, говорят, случился припадок? Ну, а в Фергане, в Нагорном Карабахе, в Южной Осетии, в Молдавии, наконец в Чернобыле старикам, детям и женщинам не было страшно? Согласится ли когда-нибудь “первая леди” государства, что в несчастье народов проклинаемой нынче империи виноват её муж? Раньше (да и по сию пору) за несчастье, постигшее ученика на территории школы, отвечали головой и учитель, и директор школы. А глава государства ни за что не отвечает*.

** Это сколько ж я листов перевел на запись раздраженных мыслей и всяких соображений; как еще молодо отзывался в свои 54 года на колебания жизни... и что сказать в 72 года? Уже давно нет Советского Союза, и по те-*

лвидению астролог Глоба предсказывает, что в 2014 году распадется Россия. О такой опасности пишет и газета “Завтра”. Боже мой, Боже мой, что нас ждет? Теперь я уже не регистрирую на бумаге свои гражданские чувства. Но от печальных мелькающих выводов не отвяжешься. Звонит в редакцию женщина, чуть не плачет: “Ну ужасно правители не чувствуют, что Россия гибнет? ужасно никого нет? Я зря спрашиваю. Народа уже нет...” И не смогла договорить, извинилась, сказала “до свидания”.

(февр. 2009)

1992

Публике, так называемому общественному мнению (хотя ни общества, ни общественного мнения у нас нет) надо что-то доказывать, оправдывать и защищать свои тезисы. Но зачем я буду доказывать самому себе? Я это знаю, чувствую, вижу. Лукавый Горбачев, “почётный немец года” ещё вроде бы неясен демократической прессе, получившей при нём свободу трепаться. А что тут неясного? “До свидания, Михаил Сергеевич”, — расстаётся с ним “Независимая газета”. Ещё надеются на его будущую защиту демократии, если Ельцин вдруг вздумает “закручивать гайки”. Всё понятно. И понятна эта фальшивая песня Горби: “Знаете, я вам так скажу: мы приняли тяжёлое наследство”. Можно задохнуться в досаде от такого вранья, и нечего доказывать, что Горби сукин сын. Однако в печати всякое резкое мнение о новых порядках выверяется*.

**Теперь уже и вовсе доказывать нечего. Сама пресса вот что сообщает: “На Чёрном море практически одной подводной лодке противостоят 17 турецких, шести российским ракетным крейсерам — 19. На Балтийском флоте нашей одной-единственной подлодке противостоят — 24 подлодки Германии, 6 — Дании, 4 — Швеции, 4 — Польши... Армии у нас уже нет. И великой страны нет. Уже и военно-воздушные десантные войска уничтожены.*

(март 2008)

12 марта

ВСЁ ТА ЖЕ КОМПАНИЯ

Не пройдет и полгода, как власть на Кубани будет полностью захвачена самыми засоленными марксистами, спешно бросавшими партбилеты в течение всего прошлого года и объявлявшими себя вдруг передовыми демократами. Позорное пятно угодничества, рабского сгибания перед партийным начальством, ежедневного услужения ленинским идеям они срочно вывели химическим составом, дабы в той же, но якобы чистой и новой одежде бежать за властью — в исполкоме, университете, на кафедре, в музее. Срочно же они возлюбили в сё, что не колыхало их ни на минуту вчера и что по указу сверху могли оценить с “классовых позиций”, по сообщаемым сосудам бесшумно перелилась их марксистская кровь в патриархальную колбочку. Торопились, снимали рубашки, платья и джинсы. Успели! Но исподнее осталось то же: шелковое глаженое белье карьеристов.

Не пришла еще наша русская власть. И, наверное, никогда не придет.

Будем жить так же, как всегда: в одиночестве и совести.

Печаль же моя о другом.

Я думаю: как не везет великой Кубани!

Пока Кубанская казачья Рада спорится с администрацией за землю и свои права, у нее из-под ног вынимают древние святые доски и передают в совершенно чужие руки. Уходило в декабре от здания Крайсовета длинной колонной казачество и далеко-далеко, в конце улицы Красной, колебалось древко флага, — свернули и пошли на молитву в Троицкий храм. Я не мог сдержать слёз, — хоть я и не казак. Казалось, вся горькая история спустилась на плечи колонны. Великую пустоту оборвали разлучённые на десятки лет дети казачества: собрались и соединились в братство. Из заграничных далей тревожными и любовными душами приникли к первой волне возрождения потомки беженцев, уже не чаившие дожидаться рассвета на родине. Теперь можно посылать им книги, ксерокопии документов, фотографии, не страшно (за них) упоминать знаменитые фамилии: Шкуро, Науменко, Збо-

ровский, Бабыч. Уже пора бы передать им и реликвии: знамёна, трубы, перначи и насеки, и архивы. Но кому! У казачества по-прежнему ничего нет: ни музея, ни складов, ни библиотеки. Там, говорят, вместо портретов атаманов в государственном музее повесили изображение генерала КГБ О. Калугина. Казалось сперва: после того, как разрешили казакам надеть черкески и молиться за погибших родных героев, к р о д н о м у порогу хоть что-то да и вернется; в родные руки попадет отнятое и награбленное бесовской властью. Ан нет: на казачьих сундуках сидит проверенная номенклатура из бывшей КПСС. Интеллигенция из идеологического кабаре мечтает только о власти и приватизации духовного наследия. Рынок толкает ее в спину: “объединять усилия всех”. Все-ех! Кроме казачества. Потому что чем же они будут кормиться, если казачество обретет дедовское и владения.

Трагедия казачества продолжается.

Без криков, без “оскорбительных выражений”, “интелигентно” вытягивается у казаков сфера влияния на власть в культуре и историческом деле. Отбирают те самые лица, кто еще “спорит”: задавить ли художественный музей Луначарского или, может, нацепить над дверями табличку с именем основателя — Ф. Коваленко?

Июль

Не было в истории России и СССР такого периода, когда о главе государства при жизни писалось как о преступнике. Уже то, что Горбачев внимательно следит за обвинениями в предательстве родины и отвечает публично: “Я суда не боюсь!” — свидетельствует о кошке, которая “знает, чье мясо съела” и в то же время — о чрезвычайной, небывалой бессовестности главаря, без краски на лице загребаящего доллары и марки на Западе за статьи и выступления.

Недавно он купался в том зловонии, которое сам же и распустил. На годовщине “Независимой газеты” уже в роли слуги выступал он с глупыми пожеланиями (изменить заголовок и т. п.). Пошлый свинский вечер, на котором царствовали евреи, закончился издевательствами над русскими: спенкой Шендеровича “У лужи”, которую читал Г. Хазанов. Никогда и нигде в присутствии бывшего “царя” не станут усердствовать в непристойностях; президент, даже низложенный, вместе с женой слушает развязную иронию о революции, которой он вчера еще бряцал с трибуны; терпит и понимает, кому досталась вольность и кто уже “нассал” на его голову. Дважды Хазанов произнес это слово. Наверно, в Израиле он бы перед премьер-министром Шамиром этого не сделал: неприлично! У нас теперь всё можно. Главное впечатление: для них ты старался, с ним и сидишь.

Ноябрь

Как же вы, дорогие ветераны, ничего не замечаете? Покупаете каждое утро газеты и вычитываете, что сказал спикер парламента и что ему ответил вице-премьер, какого “красно-коричневого” обругали и с какой стороны подбираются к Ельцину реваншистские супостаты. Вы воевали, были искалечены, но когда демократы уничтожали армию, вы решили, что просто благородные люди шерстят немножко генеральские дачи. Везде суют в пекло русских солдатиков, уничтожали страну, на очереди Россия, а ветеран, подобно Горбачеву, всё рассуждает об угрозе, нависшей над демократией. Я вас не брашно, ведь я моложе, хотя вы позволяете мне называть вас по имени. Но думаю: а наверное, таких, как вы, ветеранов много; за дарование болтовни они легко отдали палачам русскую землю.

Не слышно вас и не видно. Ветераны, умершие десять лет назад, с заткнутым ртом едва ли бы сидели.

Как так случилось, что вы, русские люди, взхлеб читали “Московские новости”, “Огонек” и прочую гнойную пропаганду и порою даже не знали (а кое-когда и не чувствовали), что пишут в защиту вас редкие патриотические издания?! Чем же вы отличаетесь от секретарей райкомов и номенклатуры, которые тоже клевали жареное? Им-то положено было такими стать, они “воспитаны в духе интернационализма” (фальшивого и провокационного),

они церкви не давали ставить, презирали (по штату) “всё царское”, скупали, отрывая от колхозников, сдававших яйца и фрукты, “видики” и наслаждались ковбойскими играми и эротикой. Но вы-то, слушавшие русские песни и получавшие ветеранские пайки, почему не покупали свечечку в церкви и не вздрагивали гневно, когда рушили в городе старинный особняк? Вы не писали, а ваши ровесники бомбили газеты протестами, когда кто-то призывал поклониться родной старине, вернуть городу первое имя и назвать улицы досточтимыми именами запорожцев. Вас, ветеранов, всегда звали идеологи “на бой кровавый” с родной дедовской историей, и вы шли. Чего ж вы теперь плачете, что погибает Россия? Россию толкли в ступе с вашего же благословения, внушив вам, что ее слава и честь начались после 1917 года. Даже сейчас, в годину уничтожения всего русского, вы не осознали, что топор рассечения нации был занесён давно. Вы боитесь нынче гражданской войны, но она никогда не кончалась, и вы ее поддерживали “поисками классовых врагов”*.

**В 1996-м, когда Ельцин, три года назад расстрелявший парламент, приехал на Кубань, ветераны-казаки поднесли ему стол, на котором он подписал лист, обещавший выдать казачеству 6 млн (или миллиардов) рублей, а несколько героев Советского Союза выстроились встречать его на вокзальной площади. И те и другие пообещали голосовать за него на выборах президента. Вся эта холопская и демократическая вакханалия теперь забылась...*
(март 2006 г.)

1993

22 января

Когда вижу на грязных улицах совсем уже опростившихся горожан, первых капиталистических торговцев у столиков с книгами, зубными щётками и сигаретами, а на базаре и у гостиницы вижу кавказцев в джинсовых куртках, повсюду страшноватую молодежь, покидает меня и без того тающее желание писать хоть что-нибудь. Всё никак не могу найти точного выражения для той городской пустоты, которой залита (как кастрюля водой) бывшая столица казачества. Какой год на дворе? 1920-й? Ушли все хозяева, и голытьба завладела всем? Да! — кто-то ушел и оставил всех сиротами. Люди, подобно живности, выпущены из стаек, сараев, загонов и бродят по вытолочному простору, на котором нет ни травки, ни зернышка. КТО-ТО УШЕЛ, и не у кого попросить милости. Наверно, так же было в Екатеринодаре, когда утром 20 марта генерал Деникин навсегда покинул с войском южный оплот спасителей России. Сейчас, правда, не выселяют из домов в Круглик. Но сиротство наступило.

Еще недавно кукольные демократы сбивались на толчке у пресловутого Нового Арбата, расклеивали воззвания; нынче и они думают только об одном: как раздобыть денежку, приватизировать чего-нибудь, выгодно сбыть пошленькую газетенку, еще выгодней купить детшкам какой-нибудь промтоварчик. Все спасают себя. НИКТО НЕ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ВИНОВАТЫМ. НИКТО.

И, как всегда, в первых рядах святой невинности — родная наша интеллигенция.

Со многими я уже не здороваюсь, некоторых не хочу видеть, прямых или “косвенных” предателей России не прощаю.

Россию предавали не раз, но многие (весьма вроде хорошие люди) так и не поняли, что сослужили службу предательству.

А кто понял, то промолчал.

Нет в их воспоминаниях раскаяния.

1995

Разбираю бумаги или попадетсЯ какая-нибудь старая фотография — обязательно вспомню нынешнего атамана и поворчу на него. Такая во мне нехорошая закваска. Иван Петрович Пузиков скажет мне на это в Пересыпи: “Ну конечно! Лихоносов только критикует и плачет! Хорошего он не видит. Москали все такие”. Но у меня есть оправдание: я ни разу не вспомнил

нынешних казачьих вождей, читая знаменитое письмо запорожцев турецкому султану. Значит, со мной еще жить и разговаривать можно. Так давайте сейчас и побалакаем.

Созревает в моей голове, господин атаман, новое “письмо запорожцев турецкому султану”. Нелегко прикинуться запорожцем, а султан всегда найдется. Что же вы, бисовы души, объявили куцых нынешних казаков “отдельным народом” (имеющим право на самоопределение, да?), а землю кубанскую отдаете московским толстосумам, туркам-месхетинцам и другим малым народам, молочные заводы распродали тоже москвичам и прочим неизвестным проходимцам, магазины в Екатеринодаре упустили в чужие руки, культура вместе с театрами и небогадельнями в руках друзей Кобзона, исторические камни самого города (бывшей столицы казачества) разбивают под стеклянные новостройки, книжек старых не печатают, а “Черноморские казаки” Ивана Деомидовича Попки ваша казачья вольница не покупает даже за 3 рубля — чего ж вам, отдельному-то народу, обижаться на власть и мечтать о счастье у турецкого султана?

Письмо ему придётся писать уже не матерное, а просительное, но я никак не seberусь, времени нет, да и, боюсь, зарубите вы меня шашками, если расскажу султану вашими же словами всю правду.

Султан, надо сказать, никого, кроме турок, “отдельным народом” не признаёт, и вам приближаться к его гарему будет тяжело. Конечно, пару атаманов он к теплым ваннам с невольницами пропустит на часок-другой, но там-то, в гареме, вы все, такие страстные, от своего народа и откажетесь. И потом как-то неуклюже становится в России в отдельную народную шеренгу, если предки умилялись царской властью, охраняли ее и словами Василия Вареника выражали императору Александру III нижайшую благодарность за переданные в Войсковом соборе слова монарха, кои “глубоко проникли в сердца сынов Кубани; гордимся этими словами, благоговеем перед ними и потщимся как мы, так и наши дети и внуки оправдать надежду и волю Всемилостивейшего нашего Императора и Отца нашей святой Руси и пребыть до последней капли крови истинно верными и полезными Государю нашему Батюшке, матери Императрице, Августейшему Атаману нашему Николаю и всему царствующему дому...” Каково? Так-то кланялись “низенько” в 1882 году...

Всё тот же “старейший по летам” Вареник обязуется с небес “умиленно возблагодарить всещедрого Бога за его благодать и просить Его о продлении благоденствия” уже не Александру Александровичу, а атаманам, проснувшимся казаками после переворота 1990 года, и будет просить Бога вразумить атаманов перестать быть “отдельным народом”, а стать, наконец, похожими на прежних кубанских казаков. Как умели говорить! А вам не дано. И вы у памятника Екатерине Великой, если его восстановят, не сумеете поклониться тениям монаршим, и, если возродят храм Александра Невского, не вспомните слов Вареника, которых вам всем не произнести никогда: “...Пройдут десятки лет, и внуки наши, с благоговением указывая своим детям на освященную сегодня обитель Всесвятого Христа Бога нашего, скажут им: молитесь в храме этом за ваших предков, будьте истинными сынами вашего Отечества и ревностно чтите православную церковь”*.

**Всё сбывается. Восстановил губернатор памятник Екатерине, возродил храм Александра Невского, а Василия Вареника, родного старозаветным чувствам, не нашлось, и стыдно слышать, читать речи казачьи, статейки...*

(май 2007 г.)

1997

Февраль

Помню, появление первых номеров журнала “Москва” было радостью для любителей литературы. Да все провинциалы знают, каким событием стало и многое другое: появление “Недели”, “Литературы и жизни” (предшественницы “Литературной России”). Какие-то великие люди обещали нам чудеса правды и красоты на страницах периодических изданий, а мы,

учителя, солдатики, клубные работники, бегали к киоскам в городе и в пути на станции за каждым свежим номером, робко переносили и неудачное, хитромудрое порою их перевоплощение в творчестве. Были и роскошные подарки. У меня как реликвия хранятся переплетенные страницы романа “Жизнь Арсеньева” И. А. Бунина, журнал впервые напечатал заветную книгу классика (но в легком сокращении). Мы жили в такое время, когда объявленная заранее публикация забытого или редкого по таланту писателя тотчас гнала нас на почту — подписаться на журнал! Ждать родные тексты — такова судьба нашего поколения. Кто теперь так трепещет? На автобусной остановке покупаешь номер, а там рассказ Ю. Казакова “Адам и Ева”! Уже трехчасовая дорога пролетит мгновением.

Но все равно в советское время журнал столицы не мог стать таким, каким мы его принимаем в руки теперь, лаская душой обложку с живописными мотивами русской истории, с “домашней церковью” напоследок. Создатели журнала нового периода молча внушают всем: вот какими были и должны быть русские люди! Кланяюсь им за это. А то при Брежневе печатался в “Москве” роман о большевиках-подпольщиках в Екатеринодаре, и нашего Государя-мученика обзывали “Николашей”, а отца его, великого Александра III — пьяницей и чудовищем. Помнит ли это старая редакция, недвольная, как мне известно, нынешними демократами? Ведь мы теперь жалуемся, как нас растоптали, унизили, в быдло превратили в статьях и сочинениях всю тысячелетнюю Русь, но как же мы сами позволяли топтать свою историю? И никакого труда не составляло — вычеркнуть гнусные фразы. Значит, и тогда не все были традиционно русскими, протухли рыбным кремлевским запахом. И. А. Ильин и за границей сберег в себе русскую сокровенность от “заупокойных” чувств. Ныне журнал возвращает нас к ощущению первородства. И государи, и князья, и кушцы, и крестьяне, и страдальческая наша церковь нашли себе приют в доме родном; и дом этот — журнал “Москва”, заново начатый В. Н. Крупиным и продолженный Л. И. Бородиным.

Пусть журнал будет похож на исполнительницу русских песен Т. Петрову, на все скрижали народные*.

** — Робкой, даже, может, обиженной походкой провинциала среди укороенных привычных москвичей (всегда чувствуешь себя ненужным и каким-то неполноценным) подошёл я от Румянцевской библиотеки к старому Арбату, ничего не узнал (давно, лет десять не был), тотчас затосковал душой по букинистическим магазинчикам (где они? разве вот эти?), искал дом № 30 с мемориальной доской Ю. П. Казакова, потом возжаждал зайти в журнал “Москва” к Л. И. Бородину, уже сдавшему свой пост главного редактора другому, но сохранившему вроде как президентский какой-то кабинет за собой. Внизу книжный киоск. Сказали, что Л. И. бывает по пятницам. А книги хорошие, русские, на подбор. Дорогие. А при входе, в крохотном коридорчике, на полках журнал “Москва”. Все номера, кроме последних, бесплатные. Остатки. Журнал “Москва” консервативный... так и хочется сказать: как М. Катков, К. Леонтьев и К. Победоносцев. Русский. Он такой же, как музей А. Васнецова в Фурманном переулке. Заходишь — и чувствуешь русское благочестие; всё скромно, тихо, по-вековому. И вот такой журнал не нужен ни правительству Москвы, ни всяким депутатам-патриотам, ни... ни... ни... русскому москвичу. Отпали от родимого чувства! Я взял сначала журнал с публикациями А. Бусыгина.*

Плакать хочется. Так же русский человек не имеет понятия о газете “Русский вестник”.

(июль 2009 г.)

Май

В Сан-Франциско ровно восемь лет назад нас радушно встречали потомки белых эмигрантов, и терский казак Н. Н. Протопопов подарил мне номера журнала “Наши вести”, который он редактировал. Дома, листая страницы, я узнал, что русская зарубежная церковь причислила к лику святых протоиерея Михаила Лекторского, расстрелянного красными на окраине станции Брюховецкой. В журнале “Родная Кубань” мы на второй странице

обложки поместили иконописный образ о. Михаила, а внутри небольшой текст. Мы это сделали с душевной надеждой на воодушевление родных святоотеческих чувств у казаков. Увы! Никакой реакции. И самый главный атаман даже не позвонил. Ни слуху, ни духу. А я думал, они обрадуются! Напишут в Америку, поищут родню. Куда там! И настороженно промолчала епархия. Господи, долго нам ждать обретения мощей старорусской веры православной... И дождемся ли слёз поздних казаков, которые в одиночку или за семейным столом будут читать строки о гибели невинных предков. И прочитали ли они это?

Нет! не проникла молитвенная печаль в душу казачью. Никакого отзвука. Ни вдоха. Ни одного намёка на память. Тьма альбомов, пособий, хрестоматий, кубанских всяких сборников, учебников по кубанской истории, энциклопедий — и нигде не сыщешь строк о страдальце Михаиле и его святого образа. Безбожное племя, строем входящее в церковь в Екатеринодаре по парадным случаям. (Некоторые при этом ждут на улице: когда закончится служба, и курят. Так было и в Тамани на 200-, 210- и 215-летия.)

(май 2008)

2002

12 октября

Десятого прибыл в станицу Каневскую. Везде хороша ясная теплая осень, а на Кубани она долгая, последний лист падает поздно. Еду по этой дороге в какой раз, но уже не так, конечно, как в первый когда-то: всё было новым и удивительным в этой степи. Ехал со связкой журналов, в “Родной Кубани” печатали мы чудные воспоминания М. Недбаевского. Ради него и везу. Только камыш и стоячая вода в маленьких речках и хранят, казалось, память о казаках, ездивших здесь на мажарах.

На главной улице ни один старшекласник не смог подсказать нам, где находится книжный магазин. Его уничтожили за ненадобностью, а в магазине детских товаров устроили уголок для всякой литературы. На месте послевоенных строений сельхозвыставки — базар и какая-то каменная гадость; дальше широкий сквер, через дорогу на возвышении плоский советский корпус администрации.

Недбаевский писал в эмиграции: “...в юго-восточном углу церковной площади находился дом Бурсаков”. А в чьем доме музей? Я уже бывал там двадцать лет назад. Входим в воротца; вот и крыльцо, на котором я стою — на фотографии в первом издании романа о Екатеринодаре. Двадцать лет назад мы говорили о Недбаевском с хранительницей. Дверь открыта. В пасмурном коридоре никого, направо, в канцелярской, тоже не видно сидячих фигурок. Чуть не крикнул по привычке: “Хозяйка-а”! Вышла молодая женщина, чуть позже возникла тенью хранительница.

— Привезли вам воспоминания Недбаевского. Четыре года назад печатали. Знаете?

Сразу чувствуешь всю бедность существования самой идеи музеев в глуши. Даже в богатейшем Каневском районе государственная натура беспамятна. И опять революция у нас случилась, и опять “некогда, не до истории”.

Думаю, в таком музее работать тоскливо. И обидно. Никто не ходит и никто не заботится о нем. Каким был бы музей в Каневской у казаков — не случись этой всем известной “народной революции”. Уж не эта хата с маленькими темными комнатами хранила бы станичные предания. Денег на ее содержание дают всего одну тысячу на год; приходится пореже включать свет. А тот, кто в станице “руководит культурой”, получает в месяц тысяч пятнадцать. (В Краснодаре такие же надзиратели культуры прихватывают тысяч по двадцать пять, тридцать.) Сиротски висит портрет атамана Л. Черняка, умершего в 1927 году за границей, — как новое достояние свободы. Где и как умер бедняга? что за атаман был, куда делись родственники? кто-нибудь интересовался им? Некому интересоваться. Попсовые журналисты бегают за платными материалами. Краеведы дохлые. При советской власти незачем было искать

“офицерскую сволочь”, попов, атаманов — идеология строгая. К нынешнему дню “всё устарело”. Воспоминания полковника Недбаевского читать скучно? Я писал в предисловии к публикации: “Кому хотел поведать о старовыне полковник М. И. Недбаевский? Можно только гадать. Наверное, прежде всего тем, кто вместе с ним скитался на чужбине и знал, что домой на Кубань никогда не вернется. Многие из его родичей, станичников, товарищей по службе хорошо помнили казачью жизнь, и потому он не вдавался в подробности, а вроде бы намекал только, называл фамилии, которые всем были известны. В этих намеках, недосказанности, в манере беседовать “по-соседски”, с грустью вздыхать о вчерашнем общем доме, о полках и командирах вскроется через много лет столько горечи, столько сожалений для души, еще родственной исторической казачьей душе. Пусть и тот, кто ничего о старой Кубани не знает, чутко наполнится мелодией расставания, печалью изгнанника...”

На витрине нашего журнала (№ 4) с воспоминаниями М. Недбаевского нет. Кто в Каневской прочитал их? В какой хате были вечерние разговоры о тех, не пришедших с чужой земли казаках, о доживавших здесь? Кто вздохнул, заплакал? А Бог его знает. Наверное, никто и не читал. И учителя истории даже не слышали об историческом журнале “Родная Кубань”. И местное телевидение, радио, и газеты не промолвились о том, что вот... наконец-то... напечатали нашего станичника горемычного, удалого, из другой породы! Четыре года прошло. В станице проживает пятьдесят тысяч! И все переродились? Почти как в опере: “Теперь я турок, не казак!”

Десять лет либералы трясут Сталина за репрессии 1937 года. О страшном голоде сболтнули немножко и — довольно. Появился уголок страданий народных; подхожу, читаю.

“Весной 1933 года я сторожил колхозный дом, отобранный у середняка Лоцмана... И в этом доме собирался актив, которым верховодила Полина Селиванова. Голод страшный, а они принесли хлеба белого, сала, еще кой-каких продуктов: огурцов, капусту, водку. Выпили. А потом Полина рассказывает: “Заходим, смотрю — бочка припрятана, ну, думаю, теперь пойдете по этапу. Открыла, а там детская рука, прямо сверху, всё засолено. Ну, на это у нас нет приказа изымать. Пусть остается”. Ха! ха! ха! Всем стало весело” (воспоминание старожилки ст. Каневской Гринь Федора Васильевича.)

— А где же, спрашиваю, — казаки, которые, по словам атамана, “возрождаются”?

— Да где-то тут бегает человек двадцать...

Столько же (наверное) бегает в Тимашевской, которую мы объезжали вечером. В ограде церкви был похоронен историк И. Д. Попко. Церковь разрушили еще до войны. “Черноморские казаки” — его главная книга. По сто, сто пятьдесят рублей продают книги о черной магии, о баптистах и убийствах политических деятелей, а эта синенькая книжка о быте и нравах первых поселенцев на Кубани уценена до... трех рублей, но и по этой цене ее никто не покупает. Так где же казаки? Сколько им можно хвастаться своими достижениями и выпрашивать деньги у правительства на свое содержание? Они даже читать не любят. А с 1 октября атаман провозгласил их... “отдельным народом”.

2003

7 апреля

Очень поразила меня дочь генерала Деникина — Марина Антоновна.

Вослед моему письму послала мне навсегда (!) семейную реликвию: редкую единственную фотографию. Совершенно чужому человеку. Удивительная старинная русская доверчивость. На обороте фотографии рукой ее матери Ксении Васильевны написано: “Твоя первая фотография снятая в России в городе Екатеринодаре, когда тебе было пять месяцев. Мама”. Было это в августе 1919 года. Мать утопает в глубоком плетеном кресле, дитя прикило к ее щеке. Сидят они, наверно, во дворе дома Фотиади. Я почти каждый день хожу мимо.

“Вы просите, — пишет Марина Антоновна, — какие-нибудь воспоминания о Екатеринодаре. Мне не было года, когда я покинула родину”. Я знал

это, но просил вспомнить, что говорили о городе, о “том времени” мать с отцом. “О Екатеринодаре я писала в двух книгах: “Les Armes Blanches” и в “Mon pere le general Denikine”. Последняя должна скоро выйти в Москве в русском переводе — по случаю перенесения праха моего отца в Москву, как это решило после моего согласия русское правительство. Когда? Вероятно, всё будет зависеть от событий в Ираке...”

Долгое эхо исторической русской жизни дотянулось в Краснодар. Но мало кто услышит его. Та история спит. Угроза новой беды висит над русским народом*.

**Надеялся, что Марина Антоновна после перезахоронения отца (в Донском монастыре) проберётся тихонько, старчески в Краснодар-Екатеринодар — вздохнуть, всплакнуть. Но она, как и внук генерала Корнилова (Шапрон дю Ларэ), обошла Москву.*

(апрель 2009).

Апрель

...Уже я не тот. Не мерцаю так вспльщиво наивными (до глупости) общественными мечтами и дерзостями, порою ничего уже не хочу и по-бытовательски придыхаю: а-а, ничем не поможешь, всё бесполезно. Писем, правда, во всякие инстанции и сейчас пишу немало (по поводу журнала и в чью-нибудь защиту). Но... Вот попался, выскочил откуда-то из бумаг посеревший давнишний листочек, прочитал как чужое: о Боже! и это я? Десять лет назад обращался к властям. Нечего было больше делать? Лучше бы еще одну-две части прибавил к роману “Когда же мы встретимся?”. Писал, волновался, “проявлял гражданские чувства”. Но русское чувство владело мной в том августе: вспомнить во всей полноте, с благодарностью и благородством колодезную зачарованность казачьей истории!

2003

Утраченная простота людская, русская, простодушный кроткий и приветливый голос, душевный поклон и ещё что-то такое, что не подкреплю словом, слышатся в интонации и в живом чувстве неведомого простолюдина, а может, и боярина: “А в прошлой, государь, большой пожар погорел и от твоих государевых дел оскудел и одерженцем ободрался, однорядка у меня с плеч свалилась”. В XX веке только деревенские женщины (не все) славились в разговоре такой приветливостью, а в общении с начальством покорностью, и это было эхом той далекой старомодной русской жизни, которая нынче пропала совсем. Нынче и речь рваная, и душа грубая. Скажут: то было холопское время. Да нет. Совсем не так чует душа “умолкшие звуки”. Душа моя склоняется долу и пьет живой сок речи: “Да та же, государь, жена моя... заложила свое ожерелье жемчужное... а иной государь, живот, шапку и серги, она, не ведаю где, испроворовала безвесно, не могу яз, Нефедко, нигде проведати, в закладе ли у кого или продано за одерень”. Это в 1629 году так говорили. Надо каждый вечер читать на ночь (перед молитвой) такие тексты, вспоминать Русь.

Ноябрь

Пишите, пишите! Пишите по роману в год, успевайте написать еще и повесть и сунуть десяток статей, участвуйте в дискуссиях, забивайте своей фамилией, как гвоздями, газеты, прыгайте на телевидении... Какая жадная бессовестность — всё время надоедать собой, почти требовать, чтобы твои глупости и ложь читали, слушали, ожидать благодарности, похвалы — брр, сколько развелось таких типов “в пору наступившей свободы”! Пишут чужие биографии, перебирают и обслеживают исторические имена, события, никак не насытятся чернильной кровью...

А в это время исчезают памятные исторические углы в Петербурге, в Москве, в Новгороде и Пскове, и вовсе стираются казачьи углы в Краснодаре, которому разрушители хотят вернуть его старое имя — Екатеринодар. А еще в это же время (пока комариные тучи графоманов строчат и строчат) бездыханно лежат в духоте и во тьме архивных кладовок и на полках биб-

лиотек усохшие листы вековой старости, лежат, если говорить о Кубани, все народные были и тайны казачества. И никто, тостами возвышая “великую Кубань”, почему-то в дружеском кругу или в собрании не вздохнёт: “Чего-то всё же не хватает; даже имена путаем: никаких кладовочных книг нет”.

Пишите, пишите, господа, обольщайтесь, что слава потечет по дням и ночам вашей жизни и потомки тоже вас не забудут. Пишите.

2004

Так кто же это писал роман о Екатеринодаре? Неужели было время, когда я к вечеру выходил из архива (неохотно покидал всех, кто жил там на хрупких листочках) и, слыша шум улицы, вмиг прикасаюсь к советским будням, чувствовал себя опасно одиноким? Мне хотелось тогда вернуть царское время, а нынче рад был бы вернуть то, в которое мечтал об этом.

2005

Январь

— О, какое изобилие! какой почетный урожай. Огромная бумажная простынь на стене вся заклеена, зашпиlena приветственными телеграммами, открытками, посланиями — отовсюду поздравления с Новым годом и с Рождеством Христовым. Любовь, ласка, тайное содружество, надежда на содружество и на взаимовыручку, просто формальность (но дань принесена) и т. п.

Стою в коридоре известной частной газеты, сбросившей в один миг в 91-м году шагреновую коммунистическую кожу и нарастившей шкурку похотливо-выгодной вольности. Зашел случайно. Поздравляют власти всех уровней, депутаты, фирмачи, пивные и водочные короли, землячество в Москве, атаман Казачьего войска, коммунисты, забывшие о предательстве в 91-м году, лидер патриотического движения на Кубани — ну “все, все, все”, каша какая-то. Оказывается, они все чем-то породнились. Из одного загона, из одной стаи.

Журнал “Родная Кубань” никогда не получает поздравлений с праздниками, великими днями, с Пасхой. Русский православный журнал, кланявшийся столько лет преданиям, родникам, святыням духа, напечатавший драгоценные воспоминания о “старовыне”, не достоин внимания и симпатии, даже поверхностного уважения. Атаман лижет пятки вечно неверным людям. Господи, даже епархии ближе почему-то бывшие коммунистические издания, сохранившие за пазухой виляющие ненародные нравы. Кто в церковь не ходил и не ходит, не молится и не защищает родные исторические пенаты, тот и дороже. Как это? Объясните. Ничего не изменилось: соблюдается старый распорядок взаимных выгод. Жаловаться незачем, но когда же станем отделять зерна от плевел?*

Что поздравления! В 2000 году, когда отмечалось двухтысячелетие рождения Господа Иисуса Христа, журнал посвятил немало страниц этому знаменю. В большом зале Кубанского казачьего хора проводилось торжество. В президиуме сидело немало бывших коммунистов. Нас, все советские годы защищавших церкви от разрушения (“памятники истории и культуры”), позвать забыли. Журнал приглашения не получил. Каждую осень в Сочи гуляет “вся печать России”: устраивают выставки, конференции, обмениваются изданиями и проч. Редактор журнала “Родная Кубань” не был ни разу. Где бы Кубань ни представляла свой облик, свой потенциал, никогда не берут в делегацию “сторожей истории” из нашего журнала. Хвост угодливых газетчиков летает без конца в Ганновер, Ниццу и во все концы за... инвестициями и ради прославления Кубани. Жалоб у нас нет — ради Бога. Но что это за порядки?! Журнала “Родная Кубань” в официальном, общественном водовороте не существует. Нужны скороспелые новости. В задумчивости и душевной правде необходимость маленькая. В 2005 году милиция не пускала меня во двор Екатерининского храма, где весь синклит и газетно-телевизионная братия ждали появления Святейшего патриарха Алексия II — в списках не значился православный журнал “Родная Кубань”! И так всё время.*

** Наверное, и святые угодники не утасуют в своём праведном слежении с небес за нашими грехами, упрекают и поправляют нас. Пока писал “примечание”, выколупался из бумаг крохотный обрывок из газеты. Но как вовремя к разговору!

“ВЫСОКИЕ ЦЕРКОВНЫЕ НАГРАДЫ

Во время визита Патриарха Московского и всея Руси Алексия II несколько краснодарцев получили высокие церковные награды за вклад в духовное возрождение Кубани и России. Губернатор Е. Харитонов отмечен орденом князя Даниила II степени, мэр Краснодара Н. Кряжевских — орденом преподобного Сергия Радонежского III степени. Атаман Всекубанского казачьего войска В. Громов также получил орден преподобного Сергия Радонежского. Генеральный директор АО “Югтекс” А. Семькин награждён орденом князя Даниила III степени. Нашему коллеге — заместителю редактора газеты “Вольная Кубань” Ю. Макаренко — вручена медаль преподобного Сергия Радонежского I степени.

18 августа 1995 г.”

А знаменитый краевед В. П. Бардадым, вместе с другими подвижниками оберегавший закрытую Ильинскую церковь по ул. Октябрьской от превращения ее в “музей атеизма” (за 2 года до падения советской власти!) и написавший тьму строк о “старовине” (неудобной большевикам), не был даже приглашён на встречу со Святейшим. Вот так, господа хорошие...

2006

Январь

Уже никогда не дойдут наши русские книги в маленькие городишки, в дальние сёла России, а уже про среднеазиатские республики или Закавказье и заикаться нечего (из аулов писали). Теперь только понимаешь, каким мощными ветром распространялась культура “от Москвы до самых до окраин”, как не жалели на это средств и заботы. И в один миг всё кончилось, оборвалось. Так надо? Да, кому-то так надо было для уничтожения... “одной шестой земного шара”.

Приводил в порядок архив, чистил, перебирал и откладывал: это сбереечь, это уничтожить, это... Многое забыл. Оказывается, меня очень сильно поддерживала читательская публика — и сама того не знала. Так же, как я писал когда-то из Анапы любимым писателям (всего несколько раз), писали потом мне, и я к этому привык; не обольщался, но письма успокаивали. Теперь у многих читателей и на конверты денег нет. А сколько книг отослал я! Часто просили. Некоторые особенные письма (особенные не из-за похвалы, а как-то по-другому...) я откладываю для... тщательного хранения.

“Спасибо за Вашу “Элегию”. Ее строки, как звуки гитары, очаровывали меня, волновали, уносили в мир чувств и размышлений. Мне хотелось, чтобы страницам не было конца, и, провожая глазами последние слова “Элегии”, я с сожалением думала: “Зачем? Зачем надо прощаться..?”

с. Красный Яр, Куйбышевской обл. Шубина Т. А. 1976 г.

Была еще недавно нашей Алма-Ата, сел и поехал, и денег на дорогу надо было немного, и на гороховый суп и котлетку хватило бы, и на гостиницу. И оттуда тоже писали. Однажды прислал письмо К. Гайворонский. А бабушка моя была в девичестве... Гайворонской! Сколько бы ни было Гайворонских на свете, но все они одного древа. Наверное, я ему что-то написал и о бабушке (я почти всем отвечал и бандероли посылал, если просили книгу). В 1977 году была весточка. Кто знал, что нас ждет. Написать бы ему после прошлогдней поездки в Елизаветино (деревню матери), где и сейчас живут Гайворонские, да куда же? В Алма-Ату?! Это заграница.

“У меня есть все ваши книги, кроме “Счастливых мгновений” и “Что-то будет”. Иногда перечитываю из “Осени в Тамани”, “Люблю тебя светло”.

Уже и в Алма-Ату книги русские не попадают в том изобилии, как раньше. А то и вовсе не попадают.

Любите Рубцова? Мне кажется, души (его и ваша) родственные. Но-та одна. Неслучайно же вы взяли эпиграфом к “Осени в Тамани” строки Рубцова”.

Февраль

Так много людей рассуждало со страстью о России, так много плакало и вопило о ее печальной судьбе, и ничего не делало это празднословное множество — не то что для ее спасения, а хотя бы для самой обыденной жизни в том месте, где и надо было только совершать всего ничего: нагнуться и убрать камешек...

Февраль

“Мы должны извиниться перед автором, хотя мы и не виноваты. Бесъ проник даже в компьютер. Мастер не мог отыскать в наборе шрифтов букву ять. Нету — и всё”.

Это не мелочь. Так во всём. Русские крупички рассыпаны и развеяны, и это еще в 1946 году позволило сказать товарищу Жданову, что “мы уже не те русские, что были до 17 года...” А уж какие мы русские теперь — и сами не знаем...

Иногда думаю: надо было поменьше читать “всё подряд”, следить за “литературным процессом”, а сосредоточиться на Пушкине, Лермонтове, Толстом и на исторических фигурах и текстах о России. Хватило бы. Зато как глубоко нырнул бы! И еще святоотеческая литература... А я разбрызгал свое чувство.

29 апреля

Завтра мне 70 лет. Как быстро подскочил я к старости. О возрасте всегда вспоминалось по юбилеям знаменитых людей. Газету купишь, — вдруг юбилей М. Жарова, С. Лемешева, М. Михайлова, А. Тарасовой, Б. Ливанова, маршала И. Конева... Тебе до их старости еще скакать и скакать! И вот был юбилей Шолохова Михаила Александровича: 70 лет! О, как много и как он постарел, прямо древний, лицо скульптурное, глаза прямо торчат из орбит какой-то мудростью, тайным страданием. Он родился 24 мая. Мы отдыхали в доме творчества в Коктебеле: Олег Михайлов, Виктор Петелин, Дмитрий Жуков, Лев Экономов и я. У меня была открытка с изображением “Св. Троицы” Андрея Рублева очень высокого качества. Я написал Михаилу Александровичу поздравление, мои друзья подписались. Помню, меня переполняла воспрянувшая благодарность за “Тихий Дон”. А к 24 мая я вернулся в Краснодар и вечером сбегал в ресторан попросить шампанского (в магазинах не доставало), мне отпустили “ради Шолохова”. Некого было даже позвать, с писателями кубанскими после заказной статьи обо мне и приезда (на выручку) С. В. Михалкова я не дружил. Положил на стол “Тихий Дон” и произнес тихую здравицу. Я-то помнил, как мы с Назаровым цитировали роман, разыгрывали сцены, да и “Поднятую целину” знали назубок. Я-то помнил, как ждал вторую книгу “Поднятой целины”, читал главы еще в Новосибирске в “Огоньке”, позже на юге в “Правде”. Чужие юбилейные сроки казались закономерными, не страшными. А зачем они коснулись меня?!

Август 2007

Давным-давно почивали мы два месяца на Высших литературных курсах, слушали мастеровитые поучения С. П. Антонова, академика А. И. Берга, забытого ныне экономиста Ишутина М. И., встречались со вторым космонавтом Германом Титовым (Ю. Гагарин был еще жив), ездили в Ясную Поляну и смиренно ходили там три часа. В ту зиму я впервые увидел в общезжитии прилетевших из Иркутска А. Вампилова и В. Распутина (пока еще автора повести “Деньги для Марии”), не переставал удивляться начитанности громкого В. Шугаева и застенчивому лобопытству В. Потанина из Кургана, от которого я не отставал ни на шаг и до поздней ночи не отпускал его из своей комнаты. Ему не простучало еще и тридцать. Но сколько типов по-

видал, какой возвышенно речистый! Родная его деревня Утятка казалась мне, по его рассказам, уголком обетованным, я завидовал по-черному, что он родился в деревне, возле Тобола и Щучьего озера, что сама природа позаботилась о его писательстве. Вечера с ним стали воистину теплыми. Два месяца пролетели вмиг. Вот теперь локти кусаю: надо было записывать мгновения нашей провинциальной наивности, влиявшей на оценку всего и вся, надо было бы предчувствовать, что это и многие другие путешествия из дальних краёв в столицу станут сказкой и восторгом в поздние горькие времена. Давно это было. Уезжал он из Москвы дописывать рассказ “Русская печка”: мужики в деревне переключают печку и рассуждают! Нынче в своей Утятке Виктор Федорович, уже седой и дородный, возобновляет печку в родной избе и, вспоминая канувшие юбилеи классиков и современников, удивится, что 14 августа цифра 70 зачем-то придвинется к нему.

Многое изменилось в нас и вокруг. Но любовь к литературе осталась целой и невредимой. Застенчивая робость Потанина перед всеми художниками пера, покоряющими читателя красотой, мелодией, всегда слышна в его разговорах о литературе.

— А ты приедешь и почитай “Печаль полей” Сергеева-Ценского, — говорил он еще в пору нашей ранней дружбы. — А повесть “Пристав Дерябин”! А “Наклонная Елена”, “Медвежонок”. Его забыли, а зря.

И всегда он кого-то превозносит. Себя же держит как-то в сторонке.

— Коля Рубцов, которого на днях швейцар не пустил в Дом литераторов, и не представляет, конечно, что кто-то в деревне читает его стихи и плачет. Много ли писателей, у которых не строки даже, а целые абзацы (как у Юрия Казакова) хотелось бы повторять наизусть? Мне дак стыдно порою, что я сижу в Кремле на съезде писателей, а чистого, как северное сияние, старика Бориса Шергина не пригласили даже в гости!

Эти высказывания его — свидетельство восхищения классической художественной высотой современных мастеров и академиков изящной словесности прошлого. Расхожее учебное выражение “изящная словесность” воспринято Потаниным со святой наивностью души и стало его путеводной нитью в трудной профессии.

К шедеврам его творчества можно отнести “Ожидание моря”, “Пристань”, “Над зыбкой”, “Воспоминание о Соколе”, повесть “Доченька” (и я люблю это перечитывать), но и все другие, без исключения, повести и рассказы крепки мастерством и добросовестным приклонением к правде, а главное то, что всякое произведение Потанина насквозь человечно, жалостливо: читаешь его и чувствуешь высокое душевное давление, редкостное теперь даже в русской литературе.

Он ещё не всё написал. Он не написал о тобольской старине — не буквально что-то историческое, а просто что-то с мотивами исподней утятской старины — по рассказам ли бабушки своей Катерины, соседа деда Силянтя, матери Анны Тимофеевны, по отголоскам преданий. Урал, Сибирь наша кондовая все-таки потонули в... снегах забвения, навеки потеряли колорит, утрачены характеры — потому что классики среднерусской равнины увели в художественный полон и отстранили своими вековыми великороссами, тургеневско-толстовскими типами пристальный интерес к чалдонским натурам. Так что, Виктор Федорович, дорогой мой друг, родившийся в Утятке возле Тобола, жить еще тебе надо долго и славить всех могучих, не закованных в слово уральцев и сибиряков. И быть может, Россия воспрянет нашим сибирским чувством. С тёплого казачьего юга простираюсь виноватой душой за Уральский хребет, поближе к первому старому дому.

Стал читать статью С. Т. Аксакова о М. Н. Загоскине, поставилверху число — 14 июня 2007. Читал как что-то незнакомое. Через четыре страницы моей же рукой написано: 14 мая 1973 года. Опять 14-го! И всего на месяц раньше. Но спустя 34 года. Забылось. И эти нечаянные цифровые записи так сильно кольнули мою душу: да неужели 34 года пролетели столь быстро? Я тогда только что вселился в эту квартиру с высокими потолками, Ольга уехала купаться в Сочи, а ко мне частенько заходил Юрий Селезнев,

и мы всё толковали о русском, всё вздыхали, как задавила “родная партия” родные пристрастия в искусстве и литературе, и будущий “архитектор перестройки” А. Яковлев осенью 72-го напечатал статью “Против антиисторизма”, где покрыл партийным гневом славянофилов из “Молодой гвардии”, мне хорошо известных. А теперь я гляжу на эту цифру “73” и думаю в первую очередь о том, в какой могучей состоятельной стране я жил. Да, да, сидели у меня в кабинете и говорили о русском. И сейчас, если бы Селезнев был жив, говорили бы тоже об унижении всего русского. 34 года назад! С ума сойти. И я уже привыкаю жить в погибшей Державе...

Сентябрь

...А мне жаль, что кубанцы не увековечили Марину Ладынину, вместо нее избрали в вечное почитание Клару Лучко. В знаменитом фильме Пырьева “Кубанские казаки” Ладынина главная, ее носили зрители на руках, вслед за ней пели “Каким ты был, таким остался...” Кондратенко, будучи губернатором, поклонился ей на кинофестивале в Сочи поистине “от имени народа”.

Всё перевернулось в день похорон К. Лучко в Москве. Надо было что-то говорить “в ознаменование памяти о ней на Кубани”, что-то пообещать. И пообещали: назвать в бывшей станице Курганинской, где снимались “Кубанские казаки”, ее именем площадь, а потом уже, разгораясь, вздумали пополнить “город невест” бронзовой красавицей. Лучко долгие годы ничем особым не славилась — пока не сыграла в кинофильме “Цыган”. Так, как любили зрители Ладынину, Лучко не любили.

Пусть стоит красавица на улице Тельмана (Постовой), не помешает, но все-таки: с какой стати? еще нет памятника казачке вековой, той, может, которая пришла с первыми поселенцами. Всё у нас наперекосяк. Посадили у дверей филармонии композитора Пономаренко с гармонью. Хороший композитор, родился на Украине, жил в Волгограде, потом обосновался в Краснодаре. Нет ладу. Готовятся сложить из красного кирпича Триумфальную арку в конце улицы Красной, музейную арку, через которую Александр III не проехал бы. К. Лучко родилась на Украине, “до приезда в станицу Курганинскую, — по словам губернатора, — ни разу на Кубани не была”. В старости приезжала в основном в Анапу на “Киношок”, но почему-то Кубань считала (в интервью) “своей второй малой родиной” и заявляла: “я — кубанская казачка!” Случайные слова, случайные памятники. Случайную телеграмму губернатору прислал “из моей родной Сибири” (почти постоянно проживающий в Америке) поэт Евгений Евтушенко и назвал К. Лучко уже... “трижды казачкой”.

Где вы, казаки, тут как раз на краю города и стоявшие с пиками и простенькими ружьями? где вы, почему я не могу пройти в городе мимо ваших бронзовых фигур? Казак, поставленный у здания администрации, не внушает мне доверия: папаха на нем какая-то черкесская, вместо шапки держит в правой руке... повод.

Дарья Федотьевна Бабыч — щирая казачка. Фаина Косьминична Зборовская — дворянка. И много других. Они жили здесь, дышали преданиями запорожцев, мужей ждали из походов, “вторую малую родину” не искали... И где же они?!

7 октября

К 80-летию Ю. П. Казакова (и к 25-летию со дня его смерти) напечатали мы в “Родной Кубани” его письмо к Георгию Семёнову, тоже покойному, некогда известному. В Доме книги, в том углу художественной литературы, где толпятся на полках все эти Мураками, Бегбедеры, Коэльо, в ряду уценённых книг (там и двухтомник Бунина и Лермонтова) заметил я “Путешествие души” Георгия Семёнова — посмертное издание и последний, кажется, глубокий вздох издательства “Современник”. Путешествие души! Кто рад последние теперь за путешествием души? Книги нынче вздорожали (300, 400, 500 рублей), а эту выбросили за 20 рублей.

“Возьму тебя, Георгий...” — неслышно сказал я, поднимая с самого низу книгу Георгия Семёнова. Я его хорошо знал. Поэт в прозе, Георгий сла-

вился изящными ласковыми рассказами, письменная его речь звенела и сверкала, как весенние сосульки над окнами, на краешке крыши, названия его рассказов тоже звучали как музыка: “Звезда английской школы”, “Фригийские васильки”, “Утренние слёзы”, “Ковчег любви”.

И в этой книге, едва я раскрыл страничку “Содержание”, мелодией прозвучали заголовки: “Ветер в поле”, “Сумрак вешних дней”. Я шел домой и повторял: сумрак вешних дней, сумрак вешних дней. Казалось, откуда-то издалека-издалёка дотянулись к нам эти слова таинственного вздоха. Катастрофа с перестройкой и новой бандитской революцией перекрыла прежнюю связь: порою не поставлялись в провинцию литературные газеты, пропали в киосках художественные журналы, не стало хороших книг, в лотках навалили на столы всякую дрянь, и я о смерти Георгия Семёнова узнал уже через год, когда поехал в Москву после безвылазного шестилетнего сидения на юге. “Путешествие души”. Георгий Семёнов, Юра, высокий, лобастый, в нищотку сощуривались глаза, когда веселел и улыбался...

Там же в магазине развернул я “Путешествие” на странице 355 и, как это часто бывает именно в книжном магазине, особенно остро схватил пучок строчек.

Георгий Семёнов сразу обольщает певучей художественной речью:

“Благословите меня, люди добрые, дайте силу изобразить апрельский радостный день, обновленную после зимней стужи, залитую влагою и солнцем равнинную нашу землю, преющую в весеннем тепле; услышать гомон в небе и на воде, и в березовых лесах, белеющих окрест, как отражение облаков; рассмотреть с птичьего полета путаницу кривых наших дорог, непролазных в весеннюю распутицу, увидеть и серую деревеньку среди березняков с прилегающими к ней тощими полями, увязший в хлябях по самую кабину трактор с тележкой, в которой тряслись недавно старушки в полотняных платках, ездившие, как в палестинские земли, святить куличи в неблизкое сельцо, узреть и церквушку, травянисто-зелёная маковка которой вознесла в небо золоченый крест, блистающий искоркой над туманными лесами...”

Такое напевное начало рассказа “Сумрак вешних дней” уже никого, кроме прежних поклонников лирической прозы, не трогает. И даже “сумрак наших дней”.

Когда-то в букинистических московских магазинах на Кузнецком мосту, на Арбате или на улице Качалова брал я в руки один, два тома некоего Шеллера-Михайлова, забытого сочинителя царского времени. Но целых полвека выставлялись его зелененькие книги на прилавок. А тут за десять лет вычеркнули лучших писателей шестидесятых-семидесятых годов.

“Молоденькие берёзы в лесной стороне изогнулись, мучительно склонили вершинки, обмётанные снегом, изменив свои очертания, казалось, никогда уже не обретут цвет и радость дневной жизни, никогда в весеннем лесу не запоют птицы, исчезнувшие в заснеженной тьме”.

В наши дни читать эти строчки грустнее, чем в то благословенное время, которое мы проклинали.

“Грачи ворчат на березах, подправляя рыхлые гнезда”. “Солнце совсем потерялось в хмари, которая, казалось, скользила так низко над землей, что и макушки старых берез затуманились, обволоклись ее нависшим мраком”.

Не чувствуют, не грустят и не волнуются заскочившие на побывку в Россию русско-еврейские писатели из Вашингтона, Нью-Йорка, Парижа и Тель-Авива, не вздрагивает по-родственному душа и занесённых в мировую классику писателей с московских дач. Но их книги под разными обложками заслонили собою все полки. Где ты, Георгий, где путешествует твоя нежная душа?

23 октября

Грустно-грустно... Должен бы сейчас ходить по Вологде, поклоном приветствовать Василия Ивановича Белова, “речь толкать” (не люблю) на вечер в честь его 75-летия, повстречать всю нашу братию русскую, давно тесную. Уже дал согласие ехать, но отказался. Медицинские дела. 50 лет ему было, я не мог мать оставить, сидел в Пересыпи, заканчивал “Наш маленький Париж”. И 60-летие прозевал. Так не везет. Москвичам уже всё при-

елось, они только и знают, что чокаются на банкетах, выступают скопом по градам и весям, а я люблю неожиданные сходы, теплоту, тоскование по близким разговорам, люблю отовсюду книжки привозить, заряжаться тамошней землёй. Не повезло мне уже в начале 60-х годов (точно не помню), когда плавали писатели по Сухоне, и был среди них Александр Яшин. Тогда и Север был еще другой, девственно-матерый, одинокий. А меня что-то задержало на юге. Но главное — я ещё не побывал в беловской Тимонихе. Читал “За лесами, за долами” Евгения Носова и завидовал ему. Буду вечно каяться. В 70-м году Василий Иванович хотел отвезти меня в Тимонику по снегу, матушка его Анфиса Ивановна подталкивала добрым словом. Буду каяться, но толку? Вообще я прожил в стороне, друзья мои знаменитые как-то теснее и чаще общались. Много времени отдал казакам, а они недавно на трапезе загнули такое: “...Виктор Иванович... хоть и из лапотников, но казаки его ценят”. Ничего себе! Да я великоросс, мы Россию создали, остроги ставили до края земли на востоке. “Лапотник”. Вот это хохлачье скудоумие и не родило ни одного прекрасного писателя. “Ночлег” Ю. Казакова — о Вологодчине. Как грустно... Сейчас они там вместе. А я вышел на Красную, повернулся туда-сюда: к кому пойти? Не знаю... А там, на севере, ждали... “лапотника” как родного*.

** ...Лежу в Бийске в гостинице, давление 190 на 100. Еще надо бы добраться в Сrostки к завтрашнему празднику. Вдруг Миша Карачев звонит по сотовому из Вологды: “В. И., едем в Тимонику, телевидение готовит передачу о Василии Ивановиче, баньку натошим”. В Москве опять звонок: “Ну как там? Тимониха ждёт... Или в октябре, Тимониха, банька, выступите, даже гонорар будет...” Нет, уже не видать мне Тимонихи. Опоздал навсегда... Или всё-таки Господь поможет?*

2008

Июль

Если бы всю зиму жил в Пересыши, то день ото дня настрой моей души стал бы всё созерцательней, не засорялся городской суетой и раздражением. Читал бы каждый день. Утром раскрывал бы православный календарь на нынешний год, их много: один посвящён летописи царской семьи, другой с текстами о св. Афоне, еще где-то есть со словами Феофана Затворника (это календарь Сретенского монастыря). В древнейших общежительных монастырях Иисусова молитва читается так: “Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя”. Молитва Пресвятой Богородице — так: “Пресвятая Богородице, спаси мя грешного”.

— Молись же, старче. Жди. Наступит день, будешь жить в Пересыши в материной хате подолгу.

16 июля. 4 часа утра

Нет-нет да и проснусь раненько, по-стариковски. Ко всему как-то обострился интерес чисто жизненный, прощально-любезный, тёплый. Чего бы ни коснулся — жажда ещё раз заглянуть в лоно того мира, в который однажды (через триллионы лет) я пришел и навсегда (на триллионы же) уйду...

На ночь читал дневники Толстого; перелистывал “Яснополянские записки” Маковицкого; люблю заглядывать в комментарии, а там указаны деревни, сколько верст от Ясной, еще даты жизни разных лиц, упоминаемых в текстах. Душа первобытно, с детским незнанием что-то восклицает, отмечает, о чём-то спрашивает. Давно жили в Ясной и вокруг, жили, дышали, писали такое: “посылаю тебе 300 рублей и 5 плугов”. И где же они? Почему не достигли наших дней? Читаю, читаю, сожалею, что рано умер брат Льва Николаевича — Николенька, который был, считал великий Лев Николаевич, “талантливее меня”. Удивляешься тому, что цыганка Мария Михайловна Шишкина, жена Сергея Николаевича Толстого, умерла аж в 1918 году; это ж она застала революцию, гражданскую войну. О Боже, что пережили, передумали те, кто рос и воспитался в патриархальные времена! В эту пору моей жизни уже хочется вздохнуть или прослезиться от слов Льва Николаевича (в 40-то лет): “А старость приходит всё заметнее”. А что уж тогда мне

говорить в 72 года? Мать Софьи Андреевны прожила всего 60 лет. Чего мало так прожил Илья Львович? 67 лет. Читаешь, а всё приближает тебя к своей жизни, порой чувствуешь утраты, боишься утраты последней...

Скоро ехать в Ясную Поляну на писательские встречи, повезут куда-нибудь в заповедники по соседству, а я мечтал бы объехать деревни вокруг Ясной. Есть ли железнодорожная станция Лазарево (поблизости от имения Сергея Николаевича Пирогово. Да и где это Пирогово?) Уже теперь не увижу никогда. Где Ягодна? существует ли? В шестнадцати верстах была от Ясной. В каком-то мифическом 1870 году Лев Николаевич “насилу нашел его” в тумане. Ровно через 100 лет (плывут в моем сознании облака моей жизни) я буду летом у матери в Новосибирске на улице Озёрной, 12 и буду до утра болеть за бразильских футболистов, игравших в Мехико на чемпионате мира. Как это близко от 70-го года времён Толстого (всего-навсего один долгий человеческий век, вполне возможный), и сколько событий случилось, и как перевернулся с тех пор мир!

“Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне”. И я, родившийся через 108 лет, так же бываю здесь. Но уже никого нет. Я всякий миг думаю об этом. Я всякий раз думаю ещё о том, что как только увижу белые толстые столбы у ворот, тотчас погружаюсь в царскую Россию. Время нынешнее отлетает куда-то ввысь, я по прешпекту иду вместе с князем Болконским и всеми, кого узнал по книгам и воспоминаниям. Мне приятно чувствовать дворянскую, боярскую, княжескую Россию, и спасибо за это Ясной Поляне. Я и в 2003 году, когда мне вручали толстовскую премию, и нынче могу только благодарить за то чудо, которое свершилось в русской литературе с появлением автора “Детства, отрочества, юности”, “Двух гусаров”, “Войны и мира” и др. Нет, нет, мне неинтересно копаться в “противоречиях Толстого”, не стану я разговорами смаковать его грехи; мне близок Толстой, проезжающий, как и Андрей Болконский, мимо могучего роскошного дуба, мне близок Лев Николаевич, который даже в суровый миг называл Государей по имени-отчеству.

Как-то в доме Волконского на одном из заседаний писательских ежегодных встреч сидел я скучно и слушал сентенции лобастых писателей. “Мы стали детьми слова и России... Надо говорить по-новому, новыми словами. Сделать слово реальностью, потребностью молодой литературы. Из слова пытаться построить реальную жизнь” (В. Курбатов).

“Уход Толстого был беспокойным, и жизнь была беспокойная, и...” (кто-то неизвестный).

Скучно, тоскливо было слушать учёные, равнодушные обрывки диссертаций.

Не по-русски читаем Толстого, не по-русски понимаем его и говорим о нём.

“Наша задача выработать идеи...”

Господи, читали ли они “Тихона и Маланью”, “Алёшу Горшка”, “Корнея Васильева”?

Сидел, слушал и жалел, горевал втайне... О чём? Если бы... Если бы нынче жили (и могли бы еще жить) и приехали в Ясную к дню рождения Толстого (9 сентября) и говорили бы за этим же длинным столом в доме Волконского и на поляне... речи... Кто?

А. Яшин, Н. Рубцов, Ф. Абрамов, В. Шукшин, В. Солоухин, Ю. Казаков, В. Тендряков, Е. Носов, Д. Балашов, Г. Горышин... Кого-то, может, забыл...

Если бы...

Вокруг разорённые деревни... Но ездим по усадьбам...

В простеньком не больше ли смысла?

Сидел, слушал, а душа тихо звала к другому. Где могила кормилицы Толстого — Авдотьи Никифоровны Зябревой? Она умерла в 1868 году.

А к дочери кормилицы, молочной сестре своей, умершей аж в 1901 году, он заезжал в гости в Городно. Вот подсунул бы кто диктофон да записал их разговор, но тогда диктофонов не было.

“Солженицын освободил наше сознание...”

Я встал и вышел. Двери коношни были раскрыты. Вдали только крыши домов. На лошадях проехали дети.

Мне запомнилось, когда читал “Дневник” Льва Николаевича, имя — Авдотья Барятинская. Какая-то забытая вроде мелодия русской речи прозвучала. Под таким названием повесть бы написать... Авдотья Барятинская... Вот с этих звуков и рождается чуткое русское художество; слышится меховая боярская Русь...

Авдотья Барятинская...

Кто напишет мелодичную повесть?

Я бы хотел написать. Но Бог меня обидел.

А потом я достал с полки том 14-й — “Мои воспоминания”. Как про-сто! Я тоже бы так хотел писать.

В блокнотах, на листочках попадаются зарубки на память: перечитать Плутарха или, допустим, “Снега Килиманджаро” Хемингуэя, или “Старческие письма” Петрарки. А тут вдруг: “перечитать Недбаевского”. Когда-то мы в журнале “Родная Кубань” напечатали впервые воспоминания этого казака из станицы Каневской. Да, хотел бы я пожелать нынешним задирающим казакам полюбить эти воспоминания так, как полюбил их какой-то москаль, то есть я. Максим Иванович ушёл с белыми, и один только Бог знает, где окончил свои дни — в эмиграции ли в Праге или в лагерях Сибири. В станице Каневской, когда бываю там, ищу скорбно глазами его хату (ну, стараюсь разгадать невозможное) или кладбище, куда он, возвращаясь откуда-нибудь издалека, ещё не ступив на порог своей хаты, заходил проведать дедушек и бабушек и всю родню. Вот такие были люди. В Екатеринодаре он знал всю достославную породу казачью, дружил с Бурсаками. И я нынче, когда безродные архитекторы несут под будущие небоскрёбы низенькую каменную старину, тоскую по Недбаевскому и всем на него похожим. И хочу перечитать его, напоминаю себе. Да некогда! И так же некогда писать “Доску печали”.

Октябрь. — Пора писать! Тратишься на нескончаемые “нужные дела” и не боишься, сколько таинственных тонких мгновений сверкнуло в твоём сознании и не улеглось в строчки, которых потом не вспомнишь и в таком блеске не вытянешь. Пора! Иногда даже по шутливым и ласковым игривым запискам, которые я разбрасываю на листочках знакомых и случайных спутников, чуть позже (случайно перечитывая) замечаю, что душа еще бьется вольно, свежо и писать могу.

Ноябрь

И дни, и месяцы и уже годы хожу вдоль длинной стены старинного двухэтажного дома Тарасовых на улице Красной; до реформ занимала его военная комендатура. Двери наглухо запечатаны, окна никогда не светятся, всё внутри молчит, даже, наверное, по коридорам и комнатам и мыши не бегают. В какой же стране мы живем? Почему в центре города просторное, с высокими потолками здание тунейдствует, никого не выпускает, никому не служит? Что за время проклятое! Кто ж это не успел кушать и кто ждет своего часа наворовать, кому-то сунуть куш (откат) и влезть хозяином? Одно время говорили, что дом “уже захвачен” генералом Казанцевым, полномочным представителем президента на юге, и все, кто слышал, верили, потому что и в Ростове (писали газеты) наворотил он себе большой сказочный дом и скупил в кубанских станицах кое-что выгодное. Но сняли вдруг за тайные делишки, и дом Тарасовых по-прежнему как невеста на выданье? Боже мой, какой распад, какое разложение на наших необъятных землях. Всё уже ясно, но душа не перестает удивляться и спрашивать: как это случилось? и до каких пор будет несчастье? И самое страшное и самое горькое в том, что обыватели (а если вежливей — горожане) с великим безразличием ходят мимо глумления, как будто появляются каждый день в чужом месте, а каждую субботу и воскресенье счастливо гуляют по Красной. Что это? объясните мне: что это? Или мне больше всех нужно? Я не кубанец, не казак. Подойти к этому дому я приглашал в письме лет тридцать назад академика француз-

ской литературы Анри Труайя (“А настоящее мое имя, — написал он мне тогда из Парижа, — Лев Асланович Тарасов”). Он не поехал в Россию, боялся испортить “мечту по воспоминаниям отца и матери”. Тогда, при советской власти, его, может, и не пустили бы в военную комендатуру. Дом этот описан в трехтомном романе “Пока стоит земля”, который я купил в Будапеште в 1972 году и читал на французском. Через три года Анри Труайя подписал мне свой роман и прислал (из 7-ми томов цензура пропустила только 3).

Это их дом. Они в Париже не раз вздыхали о родовых гнездышках в Армавире, Екатеринодаре и Москве. Почему он стоит пустой, холодный и закрытый? Что случилось на земле? Уцелел ли он после гибели Помпеи? Ушли из города немцы и ещё не вошли наши войска? Было ли нашествие инопланетян? А может, и правда у нас нету уже государства, и мы болтаемся в невесомом обществе?*

** Наконец-то поставили вдоль длинного этого дома серебристый забор, а с крыши спустили зелёную страховочную занавеску. У стен висят рабочие и чистят. Кто-то купил! Но кто? Узнаем лет через 30.*

(июль 2009 г.)

21 ноября

Я учился в сибирской глуши, на окраине Новосибирска, время было послевоенное, много писали о подвигах советских людей на фронте и в тылу; героизм воспевался в кинофильмах и в книгах. Современной молодежи не представить, как мы любили Зою Космодемьянскую, Гастелло, Александра Матросова, Володо Дубинина и других юношей и девушек, погибших... за нас.

В том же пламенном ряду любви и благодарности стоит роман Александра Александровича Фадеева “Молодая гвардия”. Школьники читали этот роман, верили каждому слову и боготворили Олега Кошевого, Ульяну Громову, Любу Шевцову, Сережу Тюленина. Это правда, так было с нами: мы воспитывались в безукоризненном подчинении чувству победы над коварным врагом, всему верили отрадно, с детским простодушием, и, надо сказать теперь, жалеть о том, что мы были такими, нечего: мы выросли и в чём-то главным такими же и остались. В этом заслуга и Фадеева, написавшего роман “Молодая гвардия”.

Умершую недавно народную артистку Нонну Мордюкову мы долго помнили как ...Ульяну Громову (по фильму “Молодая гвардия”). Сила искусства, причем искусства, сеявшего чувства добрые, была тогда велика. Мы читали книги без сигареты во рту и в кинозалах сидели без бутылок с пивом. Мы не возносимся выше нынешних детей, но вздыхаем, что им не досталось от искусства той чистоты, которой воспитывали нас. Роман Фадеева имел огромное влияние на молодые души и в других странах. Ничего подобного нет сейчас. Нарочно размножают книги, которые разлагают самых юных и невинных.

Если кому-то из школьников, студентов читать нынче “Молодую гвардию” станет неважно, значит, романтика всего мира потускнела, вера в литературу как в целебное снадобье подорвана, а героизм прославляется на телеэкранах и в романах только бандитский...

Но времена чистого героизма еще вернутся. Возродится имя А. Фадеева.

Я пишу это, и мне грустно оттого, что время послевоенное затоптано сомнениями, ложью, грязью — якобы под благовидным предлогом: утверждение полной правды!

Я так же думаю сейчас, что А. А. Фадеев ближе мне (и не только мне) многих сегодняшних литературных гениев, получающих искусственные премии: всякие “букеры”, “триумфы” и проч.

Декабрь

“Сегодня мы плачем и рыдаем, видя во гробе лежащего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и отдаём последнее целование, поём вместе со всею нашею Русскою Православною Церковью: “Вечная память...”, веруя: “Душа его во благих водворится и память его в род и род”.

Писатели России, 5 декабря 2008

Исторический миг свершается порою под боком, в такой таинственной близости, что душа напрягается и холодеет.

На другой день скромных торжеств по случаю 50-летия Союза писателей России мы из особняка на Комсомольском проспекте, 13 переместились в Храм Христа Спасителя (в зал всех церковных соборов) для соборного заседания. Обещалось появление Святейшего патриарха Алексия II.

Теперь, в бедный и затурканный период писательского Союза, легко подзалететь в президиум, и меня включили в список. Зал наполнялся делегатами и сторонниками патриотической линии в культуре, а нас, почетных выдвиженцев, пригласили в помещенье за сценой, похожее на трапезную. Длинный стол с фруктовыми напитками, бутерброды, всего чуть-чуть. Без пятнадцати десять вошел митрополит Кирилл. Все благословились, приклонившись к его руке. Митрополит был ласков, приветлив, ничто не указывало на то, что будет оглашено спустя сорок минут или час.

Началось заседание. Я никого не знаю, кроме митрополита. Мы с Потаниным уселись в третьем ряду президиума. В. Ганчев открыл заседание. Огласили приветствие Святейшего патриарха. Что-то сказал митрополит Кирилл. (Почему-то я плохо запомнил, что за чем следовало.) А где Распутин? “Нету”, — сказал я Потанину. Сидим. Вдруг Потанин толкает: из кулис показался Распутин. И еще через минуту Потанин наклонился боком и прошептал: “Валя сказал, что умер Патриарх”...

Декабрь

— И они хотят, чтобы им верили, надеялись на их верность русскому народу, не считали их чужими? Какой-то средний режиссер, не русский, циничный, и какая-то либеральная режиссёрша, подруга Нины Ельциной, получают к юбилею орден “За заслуги перед Отечеством” I степени, а писатель-патриот В. Распутин всего-навсего II степени... У В. Белова тоже нет особых заслуг перед Отечеством. У Саввы Ямщикова, у всех, кто попал в энциклопедию “Русь святая”, нет, по расчету либералов, заслуг перед Отечеством. Надо любить Америку, Европу, двойное гражданство иметь — тогда будешь в чести... Где живем? Великие князья, бояре, государи великие, помогите народу русскому понять, в какую кабалу он попал... и как перевернули Русь...

Году в 1970-м был я впервые делегатом на съезде писателей России, жил на государственный счет в гостинице “Россия” (не просто разрушенной недавно, а символически свергнутой), в какой-то день съезда обедал не в боковом буфете, а пониже, в ресторане. Чуть в стороне за столиком выпивали, кушали и переговаривались писатели. А на том съезде немало молодых писателей из провинции нацепили на лацкан пиджака значок “Русь”. И несколько угрожающе пробегали мимо всяких делегатов и публики в Колонном зале Дома союзов или собирались вместе покурить в туалете. Я как раз напечатал “Люблю тебя светло”, и за восклицания “Русь” да “Русь” меня и побили (будущие, как оказалось, ельцинисты). Кому-то мешало мое русское чувство. Томление по России, осознание, что всё русское попорно, втихую дымилось в литературной среде всегда. На этом съезде партия освобождала от руководства Л. С. Соболева (создателя российского Союза писателей), и я помню, как писатели со значками “Русь” и другие подговаривали всех более-менее надежных — не голосовать за С. В. Михалкова. Весь будущий открытый расклад сил в обществе притаился тогда в литературном мире; провозглашать раскол при партии было нельзя, и противостояние пряталось под разными допустимыми идеями; но всем всё было ясно: глубокие русские писатели сопротивлялись тем, кто (в лучшем случае) недолюбливал Россию, ее историю и культуру. И вот за соседним столиком в ресторане прорывались в разговор эти мотивы, эта боль (пусть и хмельная), это сиротство на своей же земле. Вдруг за тем столом кто-то поднялся и громко вознес стихотворной речью, читал плачущей душой, читал с вызовом кому-то виноватому перед русским народом, и в ресторане (было заметно) какие-то гости Москвы, временно завладевшие номерами в гостинице, слушали (между прочим) всё

это как что-то дикое, почти неприличное в порядочном советском обществе с крепкой милицией, парторгами, стукачами. Русь! Оказывается, какие-то ненормальные еще что-то помнят, чем-то она им мила “в ядерную эпоху”, за чем-то сехалась большая толпа (кто-то сказал, что это писатели). Подвыпившим стихотворным оратором был Николай Тряпкин, пришедший в гостиницу в гости к кому-то из дальних писателей, — я его в лицо прежде не знал.

И так врезался мне в память этот сокровенный грустный миг нашей русской жизни.

Я больше не видел Николая Тряпкина.

Нету той громадной гостиницы, не собираются мощные съезды (та-ак; что-то бедное, сиротское), нету русских знаменитых издательств, в Москву писатели в командировку ездят на собственные деньги.

Нету и поэта Николая Тряпкина.

...”Потому что я русский”, — читаю я спустя сорок лет заголовок в газете “Завтра”, воспоминания Соколкина о том, как перепутали авторство стихотворения.

“Был апрель 1995 года. Тряпкину, как и всему народу, жилось очень тяжело. Плюс ко всему, атмосфера в собственной семье была очень напряженная и гнетущая (дочь поэта вышла замуж за человека, далекого от поэзии, от культуры в целом). И Николай Иванович стал просто лишним человеком, от которого, по его словам, просто хотели побыстрее избавиться, мелочно не разрешая пользоваться холодильником, заходить на кухню и т. д. А тем более “стучать” на пишущей машинке”.

Вот и всё. Какое-то чудовище издевалось над русским поэтом. Вот это на нас похоже. Можно ли такое представить в еврейской семье? Эта история побниения камнями своих же известна мне давно, как раз со времени публикации “Люблю тебя светло”. То, что так не поглянулось и испугало еврейских литераторов, с гулом и злорадством подхватили на Кубани русские писаки. И с 1998 года эта гольтьба клевет и негодует на русский православный журнал “Родная Кубань”. Какая-то неисправимая беда коренится в наших родных недрах. Еще сто тысяч несчастий свалится на нашу землю, и ничего не поймут русские люди. Так и будут оголтело грозить убиенному Николаю II (“у-у, кровавый”), приветствовать революцию, уничтожившую императорскую Россию, и в патриотической газете “Советская Россия” будут ехидничать над Екатериной Великой и выпячивать ее женские слабости, не молиться Богу и выдавать себя за борцов за великую Россию и т. д. и т. п.

...и вот просыпаюсь я в четыре часа утра, беру с краешка стола листки и читаю, жирно вычёркиваю лишнее, поправляю кое-где стиль и т. п. Это “Мои подневольные скитания” Николая Леонтьевича Роя, который в эти минуты еще еживет, еще дышит и царствует на земле, последний казак царского времени, ему 102-й год... В это утро я существую с ним на страницах его воспоминаний в... 1929 году. Уже два поколения истлели, исчезли с земли, а он, свидетель тех страшных дней, прожил после того 1929 года еще целых, подумать только, восемьдесят лет! Я мог бы позвонить ему сейчас и услышать его голос, но у меня нет номера его телефона. И если бы я звонил, но, еще не очнувшись от событий, то звонил бы как бы оттуда, из этого злосчастного 29-го года. “Из районной тюрьмы нас погнали в городскую тюрьму на Дубинку, где поделили по камерам согласно статьям осужденных. Меня поместили в камеру 61-й и 62-й статьи, а в моем приговоре было их четыре: 61-я, 62-я, 219-я и 220-я; первые две — неуплата налогов, облигаций и отказ добровольно вступать в колхоз, две другие пропаганда против власти”. Потом в другое утро я читаю и правлю страницы о страданиях в лагере за верхним Уралом, о побеге, еще через день-два Рой уже бежит в Сухуми, дальше в Закавказье и, наконец, через границу в Турцию, в Карс, еще позже в Персию; однажды я проснулся дочитывать воспоминания и “пошел” вместе с Роем в Палестину, побывал в Иерусалиме, у Тивериадского озера, в Назарете, и когда читал строчки “Из Назарета через Самарию мы приехали в Иерусалим”... или: “однажды я шел в Гефсиманию по-над стеной старого Иерусалима...”, или: “архиепископ Анастасий поручил мне доглядывать за пасекой в Иерихонском саду”, или “...в Гефсимании в мона-

стыре св. Марии Магдалины нам нужно было пристроить несколько келий для монахинь...” или (не могу оторваться от текста) “ходить на Елеонскую гору и назад в Иерусалим было опасно...” (это уже 30-е годы), то я переносился в своё путешествие по Святой земле в 1993 году, по тем же местам преданий, и всё думал: Николай Леонтьевич в сей миг чудесным образом живет в Палестине и в Канаде. Что может быть теперь общего у него с нами, суетливо-советскими последышами? Уже не в Палестине и Канаде он, а во времени, в тягучей истории витает тенью навсегда потерянной русской жизни. Ну, еще напоследок явится он мне на “двух гектарах земли, купленных на время у араба вместе с сараем, близ Вифлеема, возле гробницы Рахили...”. О Боже. Такая каменная древность. Такое молчание веков. “Возле гробницы Рахили”. Где это? Видел ли я те окрестности, когда вышел из храма Рождества Христова? Если сподобит Господь еще раз ступить там, то уж вспомнить Николая Леонтьевича не забуду, поищу глазами и взгорья, и плоские дорожки, по которым и он, сирый и убогий страдалец, когда-то прошел...*

* *Ему послали номер “Родной Кубани” в Канаду, он прочитал, и дочь написала (не нам, конечно), что “вскоре папа умер”.* *Ветхий русский завет.* (сентябрь 2008 г.)

2008

Январь

— Не понимаю, — чуть не плачущим голосом говорил учитель и от разочарования разводил руки, — ну ни за что не пойму, как это можно: писать после трагедии о родной старине, изо дня в день пребывать в сокровенной истории народа, который молился, писать, писать об этом — и не ходить в церковь, теряться в рядах неверующих...

— Это стиль советского человека, — сказал я. — Воскрешать состарившееся родное бытие без сочувствия. У одного чешутся графоманские руки, другой использует прошлое для диссертации и своей благополучной службы — вот и вся разгадка. Вы замечаете, как уничтожается облик старого города? И разве те, кто пишет о его углах и событиях в нем, защищают его? Письменное безбожие еще хуже молчаливого.

— Цитатами забивают свои книги.

— Краеведы не заинтересованы в публикациях подлинных старинных текстов, документов, воспоминаний... Так им легче выдавать чужие слова за свои.

— Снимают кавычки.

— Да!

— Вообще любовь к своим сочинениям у них вместо любви к истории.

— В церковь не ходят...

18 мая

С грустным обиженным чувством заснул я с книгой на груди и с таким же проснулся. Был уже восьмой час вечера. Спать на закате вредно. Неужели из поклонников русской литературы никто так не горевал, как я? Или я чересчур провинциален, убог? Или я сердцем чувствую, какое сокровенное слово о русской жизни утрачено навсегда? Так о чем я жалел даже во сне? Зачем Константин Леонтьев сжег рукопись цикла романов “Река времен”?! Есть объяснение тому самого Константина Николаевича, но оно лишь ухудшает мое настроение, и я всё повторяю одно: зачем, зачем, зачем так обидел нас, любящих всё русское?

“Я всё не спешил печатать — я хотел, вообразите — всех и всё сразить сразу... Года проходили: — я, между тем храня этот запас в столе моем, хотел попробовать себя на этих “акварелях, на этих фарфоровых чашечках” Хризо, Пембе — и т. д. Никто не сказал ни слова...” И это в девятнадцатом-то веке! “...И никому в голову не пришло подумать, что это человек затевает, что он думает, о чем мечтает...” Пушкин бы остался жить (подумалось мне — опять наивно?) — догадался бы взять под локоток. В мгновение таких сожалений еще пуще горюешь, что Пушкина отняли у России так рано и жестоко. “Роман должен был обнять жизнь русского среднего и отча-

сти высшего дворянства за полвека, от 10—12 года до первых 60-х годов... Написано было уже 3 романа сполна, а другие начаты. Всех должно было быть 6 или 7, и все большие. Эта эпопея задумана была почти так же, как романы Бальзака и Эмиля Золя — в с в я з и. И всё я хотел непременно разом издать. Сколько русских лиц там было списано почти с натуры, лиц мне известных, близких, оригинальных, сильных, разнообразных, собирал материалы, мать моя трудилась, писала для меня свои Записки несколько лет”. Романом “от времени Александра Благословенного до начала царствования Александра II” Леонтьев, по словам его племянницы, “хотел доказать... что русская жизнь гораздо богаче, чем можно было видеть из ее литературы до той поры”.

Я вздрагиваю, когда читаю упоминание о матери. Тотчас подлетает ко мне день, когда я на Новом Арбате в известном “Доме книги” схватил годовой комплект “Русского вестника” и в мгновение ока наткнулся на воспоминания матери К. Н. Леонтьева.

Много редких сладостно-русских минут переживаю я, читая только комментарии в 5-м томе к неисполненному (сожженному) роману “Река времен”, подчеркиваю какие-то особо дорогие мне русские мгновения в строчках писем, сообщений, горюю, порою хочу заплакать: “...я в 71 году перед отъездом на Афон сжег 5 частей РЕКИ ВРЕМЕН, которую Вы знаете...” И потом я читаю, как Константин Николаевич, “желая пользоваться подлинными семейными летописями”, обратился в 1857 году (ему было-то всего 26 лет) к своей бабушке со стороны матери А. Е. Карабановой (рожд. Станкевич) и попросил ее прислать дневники. “На письмо Ваше, — писала ему бабушка, — я долго Вам не отвечала, ибо уже так слаба, что не встаю с постели; по желанию Вашему хотела бы послать мои журналы, но с 12 по 17 год у меня уже их отняли мои знакомые писатели, а с 17 только по 28 еще существуют, и тех, мой милый друг, не имею способа послать, ибо живу Христовым именем”. Наверное, и о ней что-то есть в дворянских бумагах, но кто будет искать? Читаю и как будто присутствую у ее постели в ее доме (где это?) и поминаю в эту минуту преглубокую нашу родовитую старую Россию, и скорблю, припадая к Карабановой, к ее последним строчкам: “...и я уже ожидаю часы смерти. Сердечно Вас обнимаю любящая бабушка А. Карабанова”.

2009

Июнь

Не хочется больше делать записи ни перед сном, ни на рассвете. И пускаться в объяснение не хочется тем более. Разорванное общество насыляет однообразные мысли, обиды, расстройства. Когда не записываешь, меньше замечаешь самого себя, отвлекаешься и забываешь то, что тебя трепало, захватывало. А ворох листьев, эти сгущенные повторения, эти непроливающиеся тучи, одни и те же мотивы ложатся на душу (когда читаешь подряд) так тяжело, что становится нехорошо, тянет всё порвать и никогда не вспоминать и не обсуждать это с собою. Но... но от себя никуда не денешься: поотдохнешь да опять примешься чирикать свое. И будешь записывать? О нет, нет, хватит, надоел сам себе, переведи, Господи, мою душу на стезю другого созерцания...

К старости русская литература становится всё родней. Всё келейнее хочется с ней уединяться, по-монашески раскрывать древние тексты, смаковать забытый язык Руси...

5 июля. Воскресенье (по старому стилю 22 июня). Неделя 4-я по Пятидесятнице. Петров пост.

Это я записываю из “Православного календаря. От Пасхи до Пасхи”, составленного в Троице-Сергиевом Варницком монастыре в Ростове Великом Ярославской области. Предисловие написано архимандритом Силуаном.

Что за день?

Собор преподобных отцов Псково-Печерских. Священномученика Евсевия, еп. Самосатского (360), мучеников Зинова и Зины (304), мучеников Галектиона и Иулиании.

“Если искренно желать знать волю Божию, есть и для тебя Ангел, ко-

торый близок и готов открыть ее. Это твоя совесть”. Святитель Филарет, митрополит Московский.

Именно нынче я не пошел на службу в храм Пресвятой Богородицы “Всех скорбящих радость”. И утром забыл прочитать молитву.

Нет времени вспомнить Бога и помолиться — вот жизнь большинства нынешних русских.

Июль, 25-е

Позвали на 80-летие В. М. Шукшина. Уже в Домодедове мы сдружались дорожным чувством и мгновением особой привязанности к русскому величию, редкому таланту и горькой судьбе, которые достались Василию Макаровичу от матери и от нашей жизни неисправимой. Аэропорт чужой, механический, всеми средствами превращающий человека в ...пассажира. За три кружки пива содрали 1000 рублей. А в Барнауле встретила нас простота и провинциальная бедность. Спустились к Шукшину, задумались, как он приезжал-прилетал сюда. Пролетел я над Новосибирском, над Обью и не угадал — в какой миг это было. Там где-то под небом вытягивалась поперек моя улица Озёрная, поднималось от станции мое Кривощёково, — быть может, ожидало меня, но я пролетел и назад поездом через родной город не поеду. “...По долине Бии и Кондомы через “плавежную” переправу на Оби близ слияния Бии и Катунь проходила “Калмыцкая дорога”, по которой еще в XVIII веке бухарские купцы и джунгарские алманчики (сборщики “алмана” — дани) ездили из Джунгарии в Кузнецкую и Киргизскую земли”. Вот куда попал я! В Бийск ехали, и я думал: а жили-то мы с Василием Макарычем рядом, вон стрелка на Новосибирск; кожицу с языка срывало в мороз мигом, если от детской дурасти-то вздумаешь лизнуть дверную железную ручку или еще что; щеки белели на морозе, колени мерзли, кальсон-то не имели.

Всё как-то по-русски получается: именно Шукшина я меньше всего и видел — один раз (вместе выступали от “Нашего современника” в воинской части). Писем ему не писал, ни одной книжки своей не подарил, в Новосибирске как-то в журнале “Сибирские огни” не застал (“вчера уехал”). А Толья Заболоцкий, оператор его родной, всякий раз что-нибудь да раскроет мне о нем (неизвестное, порою тайное), и он-то уговорил меня лететь (“может, в последний раз соберемся возле русского”).

И в Сростках я, послушав первые речи и “письмо к Васе” Л. Федосеевой-Шукшиной, и чтение Л. Зайцевой откровения матери Марии Сергеевны Шукшиной, соскочил по ступенькам вниз и пошел поглядеть с горки на Катунь, небесным светом выделяющуюся вдали среди зелени. Тихонько нарвал цветов — засушить в книге Шукшина, которую подарил мне Заболоцкий, и еще связочку положить в книгу “Дорогая моя, бесценная” (переписка с матерью). Василий Макарович, сотворенный Вячеславом Клыковым, возвышался над гостями босой. Он у себя дома. Он и в детстве так же сиживал и глядел на деревню. Простой и хороший. Родной. Дети залазят к нему, чувствуют своего.

О с в о е м писателе оставила несколько строк и знаменитая народная артистка.

Там на горке Анатолий Заболоцкий и подарил мне это письмо (ксерокопию). Приведу выдержки.

“Единственное, что я могу вам сказать, — это то, что самая лучшая книга его — это он сам. Остальное вы знаете столько, сколько знает вся наша страна....

...Что неоспоримо: ...он и товарищ, и актер, и режиссер, и писатель одинаково был силен. И если как режиссер и актер он уже сформировался, то как писатель он только начинал свой могучий взлет. Только начал...

Я бессильна. Скажу только об одном — никто не мог бы его представить бегущим в “Березку” за “шмотьем”. Модная одежда для него была так же не нужна, как пролетевшая муха под потолком. Жена подсовывала незаметно что-то новенькое и чуть ли не silkом надевала, внушая ему, что он, если не будет прилично одеваться, то обратит на себя внимание. Он соглашался, так как “высшей мерой наказания” для него это было — обратить на себя

внимание. Он общался не щедро. Только к кому потянется душа. Это было редко, но иногда его до рассвета нельзя было остановить. Тут было всё: и блеск зеленых глаз, и фосфорических зубов, и ум! какой ум! — Н. Мордукова”.

С цветами, с этим письмом и книгами о нем я и полетел назад над своей Обью и крышами родного Кривощекова.

27 августа

Умер С. В. Михалков, знаменитый дядя Степа. На 97-м году. В марте прошлого года я был на его 95-летию в Большом театре. Вечер был какой-то несерьезный, слабенький, говорить было не о чем, и в фильме, когда раскрывали его дворянскую родословную, не удосужились представить по достоинству родовитую Россию. Казалось бы: ну хоть теперь славьте, славьте великую Русь, которая “навек сплотила” народы (по гимну). Нет. Да и Михалковы сами, видно, этого не хотят. Они всегда “в ногу со временем”. Выводили его не через центральные двери, а сбоку, сыновей с ним не было, а рядом держала под руку молодая жена, так странно подменившая покойную Наталью Кончаловскую. Я подошел и остановил их шествие, назвал, напомнил ему кое-что. Он только слабо кивнул вниз. Я всегда буду с благодарностью вспоминать его приезд в Краснодар в 1974 году. Крайком КПСС с некоторыми литературными помощниками затеял одно дельце против меня, которое могло плохо для меня кончиться. Михалков защитил. На собрании в перерыве отвёл меня в сторону, сказал, что читал мою “Элегию” в “Нашем современнике”. А “Элегия” — это про пушкинские места, “воспевание дворянства”. И он почти секретно сказал, поглядывая на крутившегося в углу фойе секретаря по идеологии К.: “Ты напиши им очерк как-нибудь про передовиков, — может, отстанут”. В выступлении перед писателями коснулся он недавней высылки из страны Солженицына, назвал его “этот литературный власовец”. А спустя 15 лет заседали мы вместе в комиссии по Государственным премиям РСФСР в Доме правительства. Представлено было несколько кандидатур. И С. Михалков вдруг говорит, чуть заикаясь: “Давайте мы в этом году не будем присуждать никому, кроме... Александра Исаевича Солженицына”. Так и поступили, но Солженицын премию высокомерно не принял. Автор гимна Советского Союза, который обеспечил ему счастье на всю долгую жизнь, в 90-е годы, после ельцинского переворота и расстрела парламента, после распада Советского Союза, не сдержался и принял от Ельцина... орден, кажется, Дружбы. Разве не жалко было Советского Союза, своего гимна и своих же слов о Сталине, об эпохе великой Победы?

30 сентября

Уехать! После городской неволи увидеть морской простор, успокоиться в чистом зеленом мире, очнуться и снова узнать, что на песчаном берегу у гирла россыпью отдыхают чаечки, по какому-то дуновению разом взлетают и зорко сторожат рыбку с высоты... Вода колыхнется и растекается к горизонту, к проливу... Там Крым... Бессильное раскаяние (что живу в шумном, сорном далеке) будет напевом дремать надо мной... там Крым, там Тамань, за Кучугурами монастырь св. Троицы, в Сенной нашли плиту с могилы жены Митридата, под Таманью построили музейную станицу, в “Волне” всё такой же белый песок и к Анапе, где я написал первый рассказ, извивается высокий берег, и можно поглядеть в сторону Турции, пометать о Стамбуле и скорбной византийской Айя-Софии... Чего я езжу на трамвае и созерцаю из окна афишу, призывающую полюбоваться московскими актёрами в спектакле Хайта “Моя кошерная леди”?